

18+

Николай В. Нелидов



НАД ОВРАГОМ В ПШЕНИЦЕ

Рассказы и повести



Николай Нелидов

**Над оврагом в пшенице.
Рассказы и повести**

«Издательские решения»

Нелидов Н. В.

Над оврагом в пшенице. Рассказы и повести / Н. В. Нелидов —
«Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД
ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ
УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Этот
сборник — о России, которая не на экранах телевизоров, а на кухнях,
в библиотеках, у края растущего оврага. О поколении, зажато между
советским прошлым и цифровым будущим, ищущем опору не в идеологиях,
а в простых вещах: в любви, которая не требует громких слов, в работе,
сделанной на совесть, и в мужестве стоять на краю и смотреть в бездну без
страха. Для тех, кто любит прозу, в которой узнавание себя в героях вызывает
спасительный смех сквозь слёзы. Книга содержит нецензурную брань.

© Нелидов Н. В.

© Издательские решения

Содержание

Николай В. Нелидов	6
Москва, 2026	7
Из жизни голубей и котов	8
Слепок ветра	16
«Сдвиг» товарища Лузгина	22
Глава первая, в которой адвокат ломает время, а время — его	22
Глава вторая	26
в которой Виталий становится свидетелем крушения надежд	27
Глава третья	31
в которой Виталий не узнаёт себя и пытается переписать историю семьи	32
Глава четвертая	36
в которой Виталий знакомится с собственным сыном и понимает, что пустота бывает разной	37
Глава пятая	41
в которой Виталий становится архитектором собственной трагедии и находит в этом странное утешение	42
Глава шестая	47
в которой Виталий учиняет суд над собственной душой и признает себя виновным во всех грехах предков	48
Глава седьмая	54
в которой «Сдвиг» замолкает навсегда, а Виталий учится жить без компаса	55
Эпилог	60
в котором ничего особенного не происходит, но это и хорошо	61
Винегрет	64
Глава 1	64
Антон. Винегрет как предчувствие	65
Глава 2	67
Лариса. Правка красной ручкой	68
Глава 3	69
Татьяна (Танюшка). Текст без полей	70
Глава 4	72
Виктор. Системный подход	73
Глава 5	75
Матвей Семёнович. Дистиллят идей	76
Глава 6	77
Аллочка. Подруга с гранатой	78
Глава 7	79
Геннадий. Канарейки и баланс	80
Глава 8	81
Татьяна и Геннадий. План «Винегрет»	82
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Над оврагом в пшенице

Рассказы и повести

Николай В. Нелидов

Моей звездочке

Фотограф Н. В. Ромашенко

© Николай В. Нелидов, 2026

© Н. В. Ромашенко, фотографии, 2026

ISBN 978-5-0071-0040-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Николай В. Нелидов
Над оврагом в пшенице
Рассказы и повести



Москва, 2026

Из жизни голубей и котов

Рассказ в монохроме

Жить на последних этажах огромных стеклобетонных монстров, населивших в последние десятилетия этот город было такой же несусветной глупостью, как и строительство этих самых монстров в климатической зоне, в которой практически более полугода свинцовые тучи столь низки, что даже спешащие по своим делам под зонтами люди, казалось, ощущали, как их внезапно зажившие собственной, личной жизнью зонты блуждают в этой туманно-облачной мгле боясь натолкнуться друг на друга...

Впрочем, наш герой, имя которому мы так и не дадим, ибо в паспорте оно еще как-то значилось, а в жизни уже давно стерлось за ненадобностью, о климатической несуразности как-то не задумывался. Он вообще в последнее время старался не задумываться о вещах, на которые не мог повлиять. К таковым относились: курс доллара, решения городской думы, фазы луны и, собственно, погода за окном. А за окном, как уже было сказано, полгода была хмарь, еще три месяца — слякоть, и лишь уцелевшие две недели августа город судорожно пытался изобразить южный курорт, натужно подставляя бледные спины под жидкое северное солнце.

Квартиру эту, на сорок седьмом этаже, он получил в наследство от дяди. Дядя был человеком оригинальным. В эпоху, когда все нормальные люди, почуявшие в 90-х запах больших денег, скупали недвижимость в Лондоне и на Рублевке, дядя купил «двушку» в строящейся башне в спальном районе. «Хочу быть ближе к облакам», — говаривал он, попыхивая трубкой. Наивный чудак. Он не знал, что облака в этих широтах — это не пушистые барашки с картин импрессионистов, а грязная промышленная вата, набитая мелкой водяной пылью, выхлопными газами и, кажется, самой субстанцией человеческой тоски.

Допив остывший кофе, наш герой, назовем его просто — Обитатель, подошел к панорамному окну. Зрелище открывалось величественное и одновременно тоскливое. Город внизу жил своей муравьиной жизнью. С высоты сорок седьмого этажа пробки казались еледвижущейся кровью в артериях, люди — хаотично мечущимися лейкоцитами, а редкие деревья — жалкими пучками мха на каменном панцире планеты.

Он включил телевизор, беззвучно, просто для компании. По ящику мелькали лица. Кто-то что-то страстно доказывал, размахивая руками, кто-то рекламировал средство для вечной потенции, обещая вторую молодость, кто-то пел под низкопробную фонограмму. Обитатель смотрел на эту пантомиму и думал о том, что звук здесь, в общем-то, и не нужен. Суть улавливалась безошибочно: все суетятся, врут, продаются и покупаются. Обычный вечер пятницы в эфире и на душе.

Ровно в восемь, как по расписанию городского шума, за стеной заиграла музыка. Там, в соседнем стеклобетонном отсеке, в точно такой же ячейке, жил Молодой Человек с Гитарой. Музыка была всегда одна и та же — незатейливый перебор и хриплый голос, исполняющий, судя по интонации, что-то глубоко личное и, вероятно, гениальное. Обитатель не слышал слов, но отчетливо различал в этих звуках претензию. Претензию на Высоцкого, на Цоя, на мировую скорбь, но на проверку выходило лишь мычание сытого, но почему-то очень несчастного теленка.

«Гримаса общества потребления, — машинально отметил про себя Обитатель, прихлебывая уже совсем холодный кофе. — Он не пишет музыку, он пишет свой образ в расчете на лайки в социальной сети. Гитарный перебор для него — такой же аксессуар, как шарф, небрежно намотанный на шею в квартире при температуре +25».

Музыка стихла так же внезапно, как и началась. Видимо, Молодой Человек с Гитарой получил свою дозу виртуальных сердечек и отключился, удовлетворенный. Наступила тишина.

Такая густая и ватная, что в ней, казалось, можно было утонуть. Тишина сорок седьмого этажа. Внизу, внизу, наверное, слышен шум машин, крики пьяных, лай собак. А здесь — только гул ветра, который, ударяясь о стеклопакеты, создавал инфразвук, отдающийся где-то в затылке глухой болью. Многие жильцы таких «монстров» страдали мигренями, но упорно связывали это с магнитными бурями, а не с тем, что живут, по сути, в огромных камертонах, которые ветер раскачивает до состояния тонкого звона в позвонках.

Обитатель работал в офисе, который находился в точно таком же «монстре», только в центре. Утром он спускался в лифте. Лифт был отдельной песней. Это был не просто механизм для вертикального перемещения, а социальная пробирка, в которой на три минуты смешивались слои, в обычной жизни не пересекающиеся.

Вчера, например, с ним ехала Дама с Мопсом. Мопс, существо, выведенное искусственно настолько, что оно уже и дышало-то с трудом, смотрел на Обитателя влажными, невыносимо грустными глазами. Казалось, в них отражалась вся бессмысленность его чихуахуа-шпице-мопсовой жизни, полной «вискаса» и синтетических косточек. Дама, затянутая в леопардовое нечто, с губами, которые, казалось, сейчас лопнут от переизбытка накачанного в них наполнителя, говорила по телефону. Темы были глобальны и закольцованы: маникюр, измены мужа, отдых на островах, рестораны, и снова измены мужа с секретаршей и снова маникюр.

Обитатель слушал этот монолог, в котором слово «круто» мелькало чаще предлогов, и думал о том, что эта женщина — плоть от плоти города. Ее мир сузился до размеров ринга для боксеров-тяжеловесов: ринг этот — кожаный салон автомобиля, спальный район, торговый центр, фитнес-клуб и обратно. Она искренне считала себя счастливой, потому что ее жизнь была заполнена до краев этой возней. Пустота не заглядывала в ее душу, потому что души, как отдельного помещения, там, видимо, и не было. Вместо нее был зал ожидания, всегда полный народа и суеты.

Лифт останавливался, выпуская Обитателя в холл. Здесь, внизу, город врывается в легкие всеми своими многоликими миазмами. Пахло жареной картошкой из ларька, выхлопом, резинной от бесчисленных самокатов и мочой — неизменным спутником всех каменных джунглей, который, кажется, уже въелся в асфальт на молекулярном уровне вместе с выплюнутыми кем-то жвачками.

По дороге к метро он проходил мимо бабушки, торгующей вязаными носками. Бабушка была из тех, кто пережил войну, строил, восстанавливал, а теперь доживал свой век, сидя на складном стульчике у входа в подземный переход. Она смотрела на спешащих людей с той особой крестьянской мудростью, в которой читался немой укор: «Я землю пахала, а вы тут резинки жуёте и в телефоны тыкаете». Рядом с ней на асфальте сидел бомж с собакой. Собака, в отличие от мопса, была обычной дворнягой, в умных глазах которой отражалась вся грусть этого брэнного мира. Бомж и собака смотрели на поток людей, не прося милостыню, а просто наблюдая. Они были единственными, кто никуда не спешил. Обитатель, встречаясь взглядом с собакой, всякий раз испытывал неловкость за непонятно откуда взявшееся желание извиниться не понятно за что.

Метро. Отдельный филиал ада, который архитекторы, сами того не ведая, построили по чертежам Данте. Здесь происходило самое страшное — ежедневная, добровольная дегуманизация. Утром — озлобленные, невыспавшиеся лица. Вечером — обеспокоенные, выпотрошенные лица офисного планктона. Все смотрели в телефоны. Телефоны стали последним бастионом приватности. Спрятавшись в светящийся прямоугольник, человек мог делать вид, что он не в этом вагоне, не в этой тесноте, не в этом городе. Он где-то там, в ленте новостей, где война соседствует с котиками, а котики — с рецептом невиданного торта. Информационная шизофрения стала нормой жизни.

Обитатель поймал себя на мысли, что и сам так делает. Он листает ленту, видит пост бывшего одноклассника, который теперь «успешный коуч». Одноклассник этот в школе писал

сочинения с тремя ошибками в слове «еще», а теперь учил людей «жить в потоке изобилия», «монетизировать свое предназначение» и «периодически выходить из зоны комфорта». «Вот она, главная гримаса, — подумал Обитатель. — Из всех щелей теперь лезут гуру, адепты и пророки. Раньше для этого надо было идти в пустыню, тридцать лет поститься и общаться с духами. А теперь достаточно купить курс по SMM и закупить дешевых аватарок. Чем хуже дела в стране, тем больше пророков. И все они почему-то хотят твоих денег, а не спасения твоей души».

В офисе было скучно. Работа его, связанная с корпоративной отчетностью, напоминала перекладывание бумажек с места на место. Он был маленьким винтиком в большой мясорубке, которая перемалывала время, нервы и мечты, выдавая на выходе, в лучшем случае, скромную зарплату. Коллеги его, в основном молодые люди и девушки в стильных очках без диоптрий, с кофеманией и вечной усталостью в глазах, казались ему инопланетянами. Они говорили на своем птичьем языке: «коннектиться», «питчить», «онбординг», «дедлайн горит». Это был новояз, призванный замаскировать пустоту их деятельности. Они не строили дома, не лечили людей, не писали книг и картин. Они просто создавали видимость работы, пересылая друг другу файлы и проводя бесконечные «синхронизационные встречи», на которых решалось, как именно они будут дальше делать вид, что работают.

Особенно бесила Обитателя Света из бухгалтерии. Света была девушкой неглупой, но одержимой идеей «успешного успеха». Она читала книжки про то, как стать миллионером до тридцати (до тридцати оставалось два года), ходила на тренинги личностного роста и постоянно вещала о «расширении зоны комфорта». Комфорт, в ее понимании, ограничивался покупкой нового айфона в кредит и поездкой на выходные в горы, который она упорно называла «лофтовым местечком». Обитатель как-то не выдержал и спросил ее: «Света, а в чем, собственно, смысл? Ну, станешь ты миллионером, купишь себе квартиру в таком же „монстре“, машину, сумку... А дальше? Что ты будешь делать с той пустотой, которая останется, когда все цели будут достигнуты?». Света посмотрела на него как на сумасшедшего, пробормотала что-то про «негативное мышление и токсичность» и ушла, обиженно цокая каблуками. Она не понимала вопроса. Для нее смыслом был сам процесс достижения. Остановка означала бы смерть.

Вечером, вырвавшись из офисного плена, Обитатель решил не ехать сразу домой. Он зашел в бар. Не в модное место с крафтовым пивом и хипстерами, обсуждающими экзистенциализм Камю за бокалом кислого эля, а в простую рюмочную на первом этаже старой хрущевки, каким то чудом уцелевшей среди стекла и бетона.

Здесь пахло не кофе и свежей выпечкой, а квашеной капустой, дешевым табаком и временем. За стойкой сидел мужик в тельняшке, с лицом, которое, казалось, помнит оттепель, застой и перестройку. Он пил водку, не закусывая, и смотрел в одну точку на стене. Бармен, сонный парень с серьгой в ухе, лениво протирает стакан.

Обитатель взял сто грамм и сел в углу. Мужик в тельняшке, видимо, почувствовав родственную душу, повернулся к нему.

— Скучно, — сказал он. Не спросил, а констатировал.

— Скучно, — согласился Обитатель.

— Я вот думаю, — продолжил мужик, — раньше хоть понятно было. Враг был — вот он, за бугром. Идеалы — вот они, в книжках. А сейчас... Враг у каждого свой, внутри сидит. Идеалов нет, одни бренды. Живем, как в вакууме. Я на пенсии, сын в столицу уехал, «успешным» стал. Приезжает раз в год, на майские. Говорит: «Ты, батя, в депрессии, сходи к психологу». Психологу! Я, говорит, своему пять тыщ плачу, он мне помогает «проживать травмы». Какие травмы, ё-мое? Войну прожил, завод прожил, развал прожил, а тут травмы у него... С жиру бесятся.

— С жиру, — кивнул Обитатель, понимая, что мужик этот, со своей простой философией, гораздо мудрее всех этих коучей и Свет из бухгалтерии. Он знал цену вещам. Цену хлебу, цену труду, цену молчанию. А его сын и миллионы таких же сыновей потеряли эту цену, заменив ее ценниками.

Разговор этот странным образом успокоил Обитателя. Он понял, что его одиночество — не личная драма, а эпидемия. Город-монстр не просто отделял людей этажами и стенами, он создавал вакуумные прослойки между душами. Все были рядом, в тесноте, в давке, но каждый был сам по себе, в своей персональной капсуле, из которой транслировал в мир отфотошопленные картинки своего «счастья».

Вернувшись домой, на свой сорок седьмой этаж, он подошел к окну. Город внизу переливался миллионами огней. Красиво, ничего не скажешь. Как огромная электронная схема. Но Обитатель знал, что каждый огонек — это клетка. Чья-то клетка. И в каждой клетке сидит такой же, как он, зверь, прирученный городом, выдрессированный социумом, загнанный в рамки кредитов, ипотеки и бессмысленной суеты.

Он вспомнил фильм, который смотрел на днях. Там показывали пустыню Сахара. Бескрайние пески, ни души, тишина. И герой фильма говорил: «Здесь чувствуешь себя по-настоящему свободным». Обитатель тогда хмыкнул: «Свободным от чего? От людей?» А сейчас понял. Свободным от этой бесконечной, изматывающей, фальшивой игры под названием «жизнь в большом городе». Свободным от необходимости улыбаться, когда тошно, от необходимости казаться успешным, когда внутри провал, от необходимости потреблять, когда душа просит хлеба, а ей суют очередной айфон.

Утром следующего дня случилось событие, выбившее Обитателя из колеи. Пока он варил кофе, за окном что-то мелькнуло. Он подошел ближе и обомлел: на карнизе, снаружи, сидел голубь. Обычный сизый городской голубь, каких миллионы гадят на памятники и подоконники. Но здесь, на сорок седьмом этаже, в царстве ветра и холода, он выглядел как посланец иных миров. Голубь сидел неподвижно, нахохлившись, и смотрел прямо на Обитателя сквозь стекло. В его маленьком глазке не было страха, не было просьбы, было что-то другое. Какая-то древняя, птичья мудрость, смешанная с усталостью от этого же города, от этой же жизни.

Они смотрели друг на друга минуту, другую. Обитатель боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть странное видение. Потом голубь вздохнул (Обитатель готов поклясться, что слышал этот вздох сквозь стеклопакет), расправил крылья и... полетел не вниз, как все нормальные голуби, а вверх. Он взмыл над крышей, над городом, в самые низкие свинцовые тучи и исчез в них, словно растворился в этой хмари.

Обитатель долго стоял у окна. В голове крутилась дурацкая мысль: «А ведь он счастливее меня. Он может улететь. А я привязан. Привязан к этой квартире, к этой работе, к этому городу. Невидимой, но прочной пуповиной страха. Страх остаться без денег, без статуса, без привычного комфорта. Мы все, как тот мопс, выведены искусственно и уже не можем выжить в дикой природе. Дикая природа теперь там, за окном, в облаках. А мы тут, в уютных клетках, с центральным отоплением и видом на другие клетки».

Этот голубь стал для него символом. Маленьким пернатым бунтарем, посмевающим усомниться в правилах игры. В тот же день в офисе произошла очередная «синхронизация», на которой объявили о грядущем сокращении. Оптимизация, так это называлось. Слово было красивое, стерильное, как операционная. Оно не пахло кровью и слезами, а пахло офисным освежителем воздуха.

Обитатель смотрел на лица коллег, на которых застыла смесь страха и деловой озабоченности, и вдруг его прорвало. Его, всегда молчаливого и замкнутого, словно бес попутал. Когда начальник отдела, лысоватый мужчина с глазами акулы, вещал о «новых вызовах и горизонтах», Обитатель поднял руку.

— Скажите, Иван Петрович, а куда мы, собственно, летим? Вот эти все наши «горизонты», «векторы», «драйверы роста»... Мы отчитываемся, планируем, оптимизируем. А ради чего? Чтобы в конце месяца получить зарплату и купить китайский телевизор с изогнутым экраном? Чтобы съездить в Турцию и там две недели пить дешевое пиво у бассейна, глядя, как такие же, как мы, менеджеры наполняют свои пивные животы? Это и есть счастье? Это и есть смысл?

В комнате повисла звенящая тишина. Начальник поперхнулся на полуслове. Коллеги смотрели на Обитателя с ужасом и любопытством, как на смертника, который вдруг начал плевать в сторону прокурора. Света из бухгалтерии закатила глаза и демонстративно уткнулась в ноутбук.

— Вы... вы не понимаете задач компании, — наконец выдавил начальник. — Это рынок, конкуренция...

— Да при чем тут компания? — перебил Обитатель, удивляясь собственной смелости. — Я про нас. Про людей. Мы же не компания. Мы — люди. Мы рождаемся, живем и умираем. А между рождением и смертью мы заполняем время этой бессмыслицей. Мы создали город, который пожирает нас. Мы создали систему, в которой главное — не быть, а казаться. Мы разучились говорить друг с другом, мы только пересылаем сообщения. Мы разучились любить, мы только «относимся» друг к другу. Мы превратили жизнь в биржу, где котируется все: внешность, возраст, доход, марка машины. И мне это все... скучно. До зубного скрежета скучно.

Его, конечно, не уволили сразу. Воспитанные люди так не делают. Ему объявили выговор и отправили в неоплачиваемый отпуск «для поправки психического здоровья». Начальник, провожая его взглядом, подумал, что, видимо, переработал парень, перегорел. Надо бы нанять нового, помоложе, который будет гореть, а не философствовать.

Обитатель вышел из офиса. Город встретил его привычной моросью. Он шел пешком через весь центр. Мимо витрин, где манекены с идеальными лицами демонстрировали тряпки за бешеные деньги. Мимо кафе, где пахло так вкусно и дорого, что у бедняков сводило слюной, а у богатых — желудок от предвкушения. Мимо театров, где играли пьесы про любовь и смерть, пока за стенами театров любовь давно заменили сексом по расписанию, а смерть боялись даже упоминать, предпочитая эвфемизмы вроде «ушел», «скончался», «покинул».

Он зашел в книжный магазин. Сейчас это были уже не магазины книг, а магазины сопутствующих товаров: кружки с котиками, тетрадки с цитатами, свечи, блокноты «для благодарности». Книги стояли на полках сиротливо, как бедные родственники на богатой свадьбе. В основном это были обложки с броскими названиями: «Как стать счастливым за 7 дней», «Миллионер с ментальностью нищего», «Исповедь бывшей толстушки». Человек, видимо, настолько разучился думать, что покупал инструкцию к жизни, как к стиральной машине. «Нажмите кнопку „счастье“ и ждите результата».

Он купил тоненький томик стихов какого-то забытого поэта серебряного века, просто за то, что на обложке не было ни одного обещания. Дома, на сорок седьмом этаже, он налил себе уже не кофе, а коньяку. Достал томик, открыл наугад. Там было про одиночество, про холодный город, про тоску. Написано сто лет назад. А будто про сегодня, про него. Время замкнулось в круг. Меняются декорации, вместо извозчиков — каршеринг, вместо керосиновых ламп — светодиоды, а человек все так же мечется в каменном мешке, пытаясь разглядеть звезды сквозь смог.

Ночью ему приснился сон. Будто он стоит на балконе (хотя балкона в его квартире не было), а город внизу начинает таять. Стеклобетонные монстры оплывают, как свечи, стекают вниз разноцветными лужами. Машины, люди, вывески — все превращается в жижу. И из этой жижи поднимается что-то другое. Что-то живое, зеленое, настоящее. Он просыпается в холодном поту. За окном — утро, серое, как всегда. Город стоит на месте, целый и невредимый, насмехаясь над его сном своей незыблемостью.

Прошла неделя. Обитатель почти не выходил из дома. Смотрел в окно, читал, думал. Иногда ему казалось, что он сходит с ума. Но потом он ловил себя на мысли, что это не он сходит с ума, а мир вокруг него давно сошел, просто продолжает функционировать по инерции, как курица с отрубленной головой.

Он начал писать. Просто так, для себя. Короткие заметки, наблюдения. Про даму с мопсом, про мужика в тельняшке, про голубя-бунтаря, про Свету из бухгалтерии, которая искренне верит, что ее жизнь — это взлетная полоса. Он писал зло, язвительно, с той самой интонацией, с которой привык думать. И чем больше он писал, тем легче ему становилось. Слова выстраивались в предложения, предложения — в абзацы, и из этого хаоса городской шизофрении начинал вырисовываться какой-то свой, пусть и горький, но порядок.

Он понял, что его одиночество — это не наказание, а дар. Дар видеть то, чего не видят другие, погрязшие в суете. Дар слышать тишину за шумом рекламы. Дар чувствовать фальшь за бодрими отчетами об успехах. Город дал ему эту квартиру на высоте, чтобы он мог отстраниться и посмотреть на всю эту мышиную возню сверху. Он был смотрителем маяка в море людского безумия. И его долг — не кричать, не спасать (все равно не спасешь), а просто зажечь свет. Свет своей правды, пусть даже для одного себя.

В один из субботних вечеров, когда ветер особенно яростно бился в окна, словно просясь внутрь, в дверь позвонили. Обитатель удивился — к нему уже лет пять никто не ходил просто так. Он открыл. На пороге стояла девушка. Лет двадцати пяти, с мокрыми от дождя волосами и большими испуганными глазами.

— Извините, — сказала она, заикаясь. — Я с сорок девятого. У нас окно... ну, не окно, а стеклопакет... короче, он выпал. Кот выпал. Я думала, все, конец. А он... он на вашем карнизе застрял. На третьем этаже снизу? Я обошла всех, мне никто не открыл. А вы открыли... Можно через вашу квартиру? Пожалуйста!

Обитатель смотрел на нее и вдруг рассмеялся. Впервые за долгое время. Он представил, как эта хрупкая девушка обходит сорок шестой, сорок седьмой, сорок восьмой этажи этого стеклобетонного монстра, стучится в железные двери, за которыми сидят такие же, как он, одиночки, и никто не открывает. Никому нет дела до чужого кота, чужой беды, чужой жизни.

— Заходите, — сказал он. — Сейчас чаю поставлю. А кота вашего я видел. Хитрый, наверное, как и все коты. Небось, специально прыгнул, чтобы мир посмотреть.

Девушка, которую звали Алиса, зашла. Пока Обитатель лазил на карниз (к счастью, технический, а не декоративный) и снимал перепуганного, но гордого кота, который смотрел на него с каким-то кошачьим превосходством, Алиса сидела на кухне и рассматривала его книги, его заметки на столе. Когда он вернулся со спасенным котом, который тут же потребовал еды и был накормлен вполне себе человеческой едой в виде вареной колбасы, Алиса сказала:

— Я прочитала. Это... это очень точно. Я тоже так чувствую. Я работаю в рекламном агентстве. Мы придумываем людям желания, которых у них нет, а потом продаем им способы эти желания удовлетворить. Знаете, какое у меня ощущение каждый вечер? Будто я участвую в глобальном заговоре против человечества. Мы делаем людей несчастными, чтобы они больше покупали. И это называется «маркетинг». Иногда хочется взять и все бросить. Уехать в деревню. Кота вот жалко. Он городской, интеллигентный, мышей боится.

Они проговорили до утра. Оказалось, что Алиса живет одна уже три года. Парень уехал работать в ОАЭ (о, эта вселенская мекка «успешных»!), обещал вернуться, звонит раз в месяц. Она не жалуется, привыкла. Но сегодня, когда кот, бросившись на пролетавшего мимо голубя, выбил москитную сетку и рухнул вниз, ее мир пошатнулся. В этой бессмысленной городской жизни, полной «креатива» и «продаж», кот был единственным живым существом, которое от нее зависело и которое она любила просто так, без причины. И его гибель стала бы для нее катастрофой, равной крушению всего мироздания.

Обитатель слушал ее и видел в ней себя. Только моложе, наивнее, еще не до конца пропитанную ядом городского цинизма. В ней еще теплилась надежда, которую она тщательно прятала под маской деловой стервы.

— Знаете, — сказал он под утро, глядя, как за окном разгорается очередной серый рассвет. — А ведь мы с вами — это и есть тот самый голубь. Который взлетел выше туч. Мы видим эту суету, эту фальшь, но не можем улететь. Застрали на карнизе. Но мы хотя бы видим. А большинство даже не смотрит вверх.

Алиса улыбнулась. И в этой улыбке, сквозь усталость и испуг, промелькнуло что-то теплое.

— Я приду к вам еще? — спросила она. — Книжки почитать. И кота возьму с собой. А то он у меня совсем социофобом растет, других котов и людей только на фотках в сети видел.

— Приходите, — просто ответил Обитатель. — Все равно больше никому.

Когда она ушла, забрав кота и оставив после себя легкий запах духов и дождя, Обитатель снова подошел к окну. Город внизу просыпался. Зажигались окна в других «монстрах». Люди начинали свой новый день. Воскресенье — день бессмысленной беготни. Но теперь Обитатель смотрел на это иначе. Он не был больше просто наблюдателем. На сорок девятом этаже, точно над ним, теперь жила Алиса с котом. Там, за одним из миллионов огней, теперь теплилась не просто абстрактная жизнь, а жизнь, которая, возможно, тоже смотрела на него.

Он вспомнил ее испуганные глаза, когда она стояла на пороге. В них был страх, но был и вызов. Страх перед равнодушным городом и вызов этому равнодушию. Она не побоялась обойти десятки дверей в поисках помощи. Она верила, что за одной из них кто-то есть. И не ошиблась.

В этом и заключалась, наверное, главная гримаса современного общества: люди, загнанные в стеклобетонные улы, разучившиеся доверять, озлобившиеся на всю эту бесконечную гонку, все еще, в глубине души, надеялись, что за соседней дверью, в соседней ячейке, живет не функция, не потребитель, не винтик, а просто человек. И иногда, в минуты крайней необходимости, эта дверь открывалась.

Обитатель сел за стол. Взял ручку. На чистом листе бумаги написал: «Один в поле не воин, но если в поле есть хотя бы двое, это уже не поле, а, как минимум, перекресток». Он посмотрел на эти слова и усмехнулся. Пафосно. Но по сути верно.

Город никуда не делся. Стеклобетонные монстры стояли на своих местах, равнодушно отражая низкое свинцовое небо. Люди внизу так же спешили по лужам, боясь натолкнуться друг на друга зонтами. Где-то в рюмочной мужик в тельняшке наливал себе сто грамм, размышляя о сыне-коуче. Где-то Света из бухгалтерии планировала очередной шопинг, путая смысл жизни с его декорацией. Где-то Молодой Человек с Гитарой настраивал струны, готовясь к новому сеансу виртуальной исповеди.

Но здесь, на стыке сорок седьмого и сорок девятого этажей, в этой бесконечной вертикали безразличия, образовалась крошечная горизонталь. Тоненькая ниточка живого интереса. И это было важнее всех архитектурных изысков, важнее всех градостроительных ошибок и социальных экспериментов.

В дверь снова позвонили. Обитатель открыл. На пороге стояла Алиса. Без кота, с двумя, скрещенными как кости под черепом, бокалами в руках и пакетом, из которого торчало горлышко бутылки хорошего вина.

— Я подумала, — сказала она, чуть смущаясь, — что чай — это хорошо, но для первого раза. А для второго... Может, отметим спасение блудного кота? А то он спит, ему все равно, а я переживаю до сих пор. Не одной же мне переживать?

— Не одной, — констатировал Обитатель, впуская ее в квартиру.

За окном, в разрыве свинцовых туч, неожиданно появился бледный, робкий луч солнца. Он скользнул по стеклам соседнего небоскреба, отразился в тысяче окон, на миг превратив

серый город в гигантский, хаотичный калейдоскоп. И в этом коротком проблеске света было что-то от той самой, давно забытой надежды. Надежды на то, что даже в мире, где люди живут друг над другом, но не друг с другом, даже в мире, где смысл подменен потреблением, а чувства — лайками, еще есть место для простого человеческого чуда. Для чуда, которое начинается с распахнутой двери, спасенного кота и двух бокалов вина на двоих, в то время как за окном, на сорок седьмом этаже, продолжает свою бесконечную, унылую песню большой и равнодушный город.

А впрочем, кто знает? Может быть, равнодушие города — это всего лишь миф, который мы сами придумали, чтобы оправдать собственное бездействие. И стоит только перестать бояться столкнуться зонтами, как окажется, что под этими зонтами — не просто спешащие функции, а лица. Уставшие, озабоченные, но живые лица. И тогда, глядишь, свинцовые тучи расступятся. Хотя бы на миг. Хотя бы для двоих.

Слепок ветра

Рассказ, навеянный публикацией в соцсети

Пролог

Я обещал написать этот рассказ сразу после того, как разместил фотографию в сети. Хорошо помню тот вечер: за окном шумел дождь, я сидел с ноутбуком за своим рабочим столом в квартире мамы на первом этаже старой девятиэтажки и смотрел на снимок. На деревянное кособокое строение с красным сердцем, на ржавый бок автобуса, на серое небо, которое вот-вот взорвется грозой.

Текст под фото с обещанием написать рассказ был написан на одном дыхании. Потом я отложил ноутбук и забыл. Вернее, не забыл, а задвинул в долгий ящик памяти, как часто мы делаем с обещаниями, данными самим себе. Казалось, что для этого рассказа нужно какое-то особенное состояние, особая зрелость, особое одиночество.

И вот, время пришло.

Это не будет документальная история о той поездке в Калифорнию. В другой реальности это вполне могло бы случиться на самом деле. Обстоятельства того момента, когда я сделал фото, были совершенно другими, о которых я, вероятно когда-нибудь тоже расскажу. А это будет история о том, что я увидел в том снимке, когда всматривался в него все эти годы. Потому что хорошая фотография — это портал. И однажды, если долго на нее смотреть, она затянет тебя внутрь.

Глава 1. Сердце на обочине

Дорога номер девяносто девять всегда была дорогой транзитных душ. Она тянулась от захолустного Фресно к сияющему огнями Сан-Франциско, мимо бесконечных апельсиновых рощ и лавандовых полей, которые пахли так сладко, что у неподготовленного человека могла закружиться голова. Здесь, ровно на полпути между ничем и всем, стоял он.

Автобус.

Как показало впоследствии мое небольшое сетевое «расследование», это был старый двухэтажный «Yellow 720/735», принадлежавший когда-то нью-йоркской транспортной компании «Fifth Avenue Coach Company» и эксплуатировавшийся с 1934 по 1953 годы, выкрашенный когда-то в два цвета, а теперь покрытый сетью ржавчины, похожей на старческую кожу. Он стоял на приколе, как усталая лошадь, которая больше не хочет бежать. Рядом с ним примостился не менее старый морской контейнер, потрепанный штормами и портовыми кранами, а венчал эту композицию наклонившийся под тяжестью лет деревянный сарайчик непонятного назначения, похожий на большой скворечник для птицы-великана.

Давным-давно на стене этого сарайчика кто-то, красной краской, нарисовал большое и хорошо заметное издали сердце. Оно было неровным, с подтеками краски, которая со временем выплела, но в этом и была его правда.

Здесь жил человек. Назовем его Гарри.

Гарри было за семьдесят. Это был сухой и достаточно крепкий старик с большими отвислыми седыми усами. Он не являлся собственником этого клочка калифорнийской пустоши, он был сторожем. Платили ему мало, но и требовали немного: следить, чтобы бродяги не разводили костров у сухих деревьев, немногочисленные местные жители не устраивали свалку мусора, да подкрашивать иногда то, что просило подкраски.

Гарри был тем человеком, который умел слушать тишину. Когда-то, лет сорок назад, он работал звукооператором в Голливуде, записывая различные шумы для нескольких киностудий. Он мог с закрытыми глазами отличить шум дождя по железной крыше от шума дождя

по листве. Он знал, как звучит рассвет в пустыне и как звучит закат в горах. Но бешеный и громкий ритм большого города в конце концов убил в нем что-то важное. И однажды Гарри просто сел в первый попавшийся автобус, доехал до конечной, а потом пошел пешком вдоль трассы, пока не наткнулся на этот забытый Богом кусочек земли. Здесь он и остался. Потому что здесь ветер не врал.

В тот день Гарри сидел на перевернутом ящике у входа в контейнер, который он приспособил под жилье и мастерскую одновременно, и чинил старый музыкальный проигрыватель. Он любил звуки винила за нежное тепло и бархатистость, которых не было в современных цифровых носителях.

Небо на западе наливалось свинцом. Приближалась гроза, одна из тех калифорнийских гроз, когда воздух становится плотным, как кисель, и каждый звук разносится на милю вокруг.

Гарри поднял голову и увидел остановившуюся на обочине машину.

Глава 2. Путник

Из машины вышел человек. Он был молод, немного за тридцать, и в руках он держал фотоаппарат. Гарри сразу определил в нем собрата — не по профессии, а по взгляду. Этот человек смотрел не на дорогу, не на указатели, не на небольшую заправку с небольшим кафе неподалеку, а на свет, на тени, на фактуру старого дерева. Он щурил глаза, как художник, чтобы правильно оценить все цветовые нюансы.

— Можно здесь постоять? — спросил человек, хотя вопрос был не совсем уместным. Вокруг было пустынно, никакой ограды, и казалось, что спрашивать разрешения у сидящего неподалеку старика «постоять» не было необходимости.

— Можно и постоять, — ответил Гарри, не оборачиваясь. — Только грядет ливень. Ваш дорогой фотоаппарат может пострадать.

Человек усмехнулся, но камеру не убрал. Он подошел ближе, обошел автобус, тронул рукой холодный металл контейнера. Потом остановился напротив сарайчика с сердцем.

— Интересное место, — сказал человек.

— Обычное, — буркнул Гарри. — Просто перекресток.

— Какой перекресток? Дорога одна.

— Дорог много, сынок, — Гарри отложил паяльник и встал, хрустнув коленями. — Есть дорога для перемещения тел, когда жмешь на газ и едешь из пункта А в пункт Б. А есть дорога для душ. Здесь они иногда пересекаются.

Человек вскинул камеру, навел резкость на сердце. Кадр был простым: старое дерево, кривая доска, красное пятно. Но Гарри видел, как молодой человек замер. Щелчок затвора прозвучал неестественно громко в висящей предгрозовой тишине.

— Знатное сердце получилось, долговечное, — сказал Гарри. — Я его давно нарисовал. Лет двадцать тому. Тогда еще думал, что любовь — это то, что можно удержать.

Человек опустил камеру и посмотрел на старика внимательнее.

— А теперь?

— А теперь я знаю, что любовь — это как ветер. Ты не можешь его удержать, но ты всегда чувствуешь, когда он дует. Не можешь контролировать ни начало, ни конец. Вон он, слышишь?

Верхушки деревьев качнулись и зашумели. Природа сделала глубокий вдох перед долгим выдохом.

Глава 3. Музыка ветра

Гроза приближалась не спеша, как опытный охотник. Гарри пригласил путника в контейнер переждать ливень. Внутри контейнера оказалось уютно: топчан, пара полок с книгами, картинки из журналов на стенах, старенький верстак и тот самый проигрыватель, который Гарри чинил последние три дня.

— Чай будешь? — спросил Гарри, раздувая старый примус. — Воды много, чай в пакетиках. Зато сахар есть настоящий.

— Не откажусь, — ответил путник, решивший не выяснять природу происхождения «настоящего» сахара, продолжив неторопливую беседу.

Путника звали Ник. Он был фотографом, но не коммерческим, а, как он сам сказал, «охочим до света». Он путешествовал один, потому что с попутчиками всегда выходила беда: им становилось скучно, они начинали говорить, задавать неуместные и порой даже не совсем корректные вопросы, а постоянная говорильня убивает восприятие любого потенциального для фотографии вида, который композиционно вызревает в голове любого будущего автора.

— Это ты верно подметил, — кивнул Гарри, разливая кипяток по жестяным кружкам. — Талант — он в тишине живет. Болтовню не любит. Талант — это когда ты видишь то, мимо чего другие проходят мимо.

— А вы кто по профессии? — спросил Ник.

— Я? — Гарри усмехнулся в усы. — Я ловец ветра. Был. Шумы записывал для кино. Знаешь, как делали раньше звук дождя в студии? Брали железный противень с бобами и трясли. А я ездил и вживую записывал дождь. Записывал настоящий ливень в настоящем лесу. Режиссеры не верили, говорили, что слишком чисто получается. Не натурально. А это была моя жизнь.

Завывание снаружи усилилось. Первые крупные капли ударили по железной крыше контейнера, и звук был похож на барабанную дробь.

— Вот, — Гарри поднял палец. — Слышишь? Это не просто дождь. Это дождь, который пришел с океана. Немного косой, потому что гонит его западный ветер. Он прошел над полями, набрал запаха апельсинов, приправил лавандой, потом уперся в горы и разозлился. В каждой капле — история этого путешествия.

Ник сидел, не решаясь достать камеру. Хотя искушение сделать портрет старика в этих фантастических пляшущих тенях было огромно. Это был момент, который нельзя снимать. Его нужно было только прожить.

Глава 4. Друзья настоящие

Ливень хлестал по ржавым бокам автобуса, смывая с них пыль дороги. Вода стекала по полустертому логотипу «Fifth Avenue Coach Company», и казалось, что автобус плачет.

— А почему он стоит здесь? — спросил Ник, кивая в сторону автобуса через маленькое окошко контейнера.

— Этот красавец? — Гарри погладил стенку контейнера, будто извиняясь за то, что говорит о другом. — Его звали Берти. Он возил людей из Сан-Франциско в Лос-Анджелес лет двадцать. Потом его списали, продали какому-то хиппи, тот хотел сделать в нем дом. Но потом хиппи умер, а автобус остался. Я его знаю всю жизнь, сколько здесь живу. Он как старый пес. Уже не бегает, но стоять красиво умеет.

— А контейнер?

— А контейнер, — старик прищурил один глаз. — Это я сам. — Гарри засмеялся скрипучим смехом. — Меня как будто в этом контейнере по морям возили. Видишь эти полустертые буквы? Это, сдастся мне, его последний рейс: «Гонконг — Окленд — Сан-Франциско». Он видел такие порты, дружище, какие тебе и не снились. В нем перевозили всё: игрушки, станки, кофе, а однажды — чучела зверей для музея. Так мне представляется. Он пахнет историей!..

Ник молчал, пораженный тем, как старик описывал прошлое вполне себе обычного контейнера. У него даже не возникло желание подвергнуть сомнению фантазии старика. Для Гарри автобус и контейнер не были мусором. Они были друзьями.

— У тебя есть друзья? — вдруг спросил Гарри, будто прочитав мысли.

— Есть, — неуверенно ответил Ник. — Ну, как есть... приятели скорее.

— А настоящие?

Вопрос повис в воздухе, тяжелый, под стать грозовому небу.

— Не знаю, — честно признался молодой человек. — Мне кажется, настоящий друг — это тот, с кем можно молчать. Я не встречал таких.

— Правильно, — кивнул Гарри. — Потому что настоящий друг — это не тот, кто говорит тебе правильные слова. Это тот, кто стоит рядом, когда гремит гром, и не лезет с советами. Как этот автобус. Или как я сейчас.

Ник посмотрел на старика. Странное дело — они видели друг друга первый раз в жизни, но в железной коробке, под шум ливня, между ними не было обычной для незнакомых людей дистанции непонимания. Было только тепло человеческого присутствия и тишина.

Глава 5. Про любовь

Дождь стих так же внезапно, как и начался. Солнце пробилося сквозь рваные тучи, и каждая капля на листьях апельсиновых деревьев загорелась маленькой лампочкой.

Ник вышел наружу. Воздух был чист, как слеза. Он снова поднял камеру. Теперь свет был другим — мягким, золотым, почти сказочным.

Он сделал несколько кадров автобуса. Вода стекала по его бокам, и в этих струях отражалось небо. Он снял контейнер — тот стоял гордо, несмотря на ржавчину, как старый морской волк. И снова подошел к сарайчику.

Сердце на досках стало ярче. Дождь смыл пыль, и красная краска горела на солнце, будто его нарисовали только что.

— Знаешь, — сказал подошедший Гарри, — а ведь в этом сердце вся соль. Люди думают, что любовь — это когда хорошо и сладко. А любовь — это когда ты накренился, как этот сарай, вот-вот упадешь, крыша течет, доски гнилые, а сердце все равно красное. Потому что иначе нельзя.

— Вы верите в любовь? — спросил Ник, не отрываясь от видеоискателя.

— Верю. Только она не про счастье. Она про правду. Про то, что ты есть, и ты не при-
творяешься. Вот этот автобус — он же старый, никому не нужный. Но он есть. И он красивый. Потому что настоящий.

Гарри замолчал, глядя, как Ник делает кадр за кадром.

— А ты знаешь, как называется то, что ты сейчас делаешь? — спросил старик.

— Фотография?

— Нет. Ты делаешь слепки. Слепки души. Не момента, не вида, а именно души этого места. Это редкий дар. У тебя есть талант, парень. Не растрать его в суеде.

Ник опустил камеру и посмотрел на Гарри. Ему показалось, что старик видит его насквозь — все его метания, сомнения, страхи, что он делает что-то не то, живет не так.

Глава 6. Прощание

Солнце клонилось к закату, когда Ник собрался уезжать. Он сложил камеру в рюкзак, достал бумажник.

— Сколько я вам должен? За чай, за компанию?

Гарри отшатнулся и посмотрел на него так, будто Ник неожиданно дал ему пощечину.

— Ты что, с ума сошел? Ты мне подарил вечер. Ты меня от одиночества отвлек. Ты думаешь, я тут с кем разговариваю? С воронами? Ты первый человек, который увидел в этом хламе не мусор, а красоту. Это и есть плата.

Ник убрал бумажник. Ему стало стыдно.

— Я пришлю вам фотографии, — сказал он. — Если вы скажете адрес.

— Адрес? — Гарри рассмеялся. — У меня нет адреса. У меня есть дорога. Но ты не присылай. Просто запомни этот момент. Память — это единственное, что у нас есть по-настоящему.

Они стояли друг напротив друга. Гарри протянул руку, и Ник пожал ее. Ладонь старика была сухой, горячей и очень крепкой.

— Счастливого пути, — сказал Гарри. — Помни: не ищи свободу в другом городе или в другой женщине. Свобода — это когда ты принимаешь свое одиночество и не боишься его. Тогда ты свободен.

Ник кивнул, сел в машину и завел мотор. В зеркале заднего вида он видел, как старик стоит у автобуса, положив руку на его ржавый бок. Они были похожи — два старых друга, которым никто не нужен, кроме друг друга.

Глава 7. Десять лет спустя

Тем вечером, после грозы, я уехал в Сан-Франциско, но обещанные фотографии так и не отправил. Не потому, что забыл или было лень. А потому что Гарри был прав: это нужно было запомнить, а не печатать на матовой или глянцевой фотобумаге.

Прошло десять лет. Я объездил полмира, сделал тысячи снимков. Женился, развелся, снова женился, снова развелся. У меня были друзья, которые исчезали, как дым, и враги, которые могли стать ближе друзей. Я искал ту самую настоящую свободу, о которой говорил старик, и находил ее лишь на мгновения — в африканской пустыне на рассвете, в древнем монастыре Камбоджи, в шуме океана на пляже Гаити.

Но каждый раз, когда я думал о свободе, я вспоминал слова старого Гарри, стоящего возле ржавого автобуса и покосившегося сарая с нарисованным сердцем.

Недавно я решил съездить туда снова. Дорога девяносто девять не изменилась — те же апельсиновые рощи, те же лавандовые поля. С трудом отыскал то самое место по находившейся неподалеку заправкой. Ни автобуса, ни контейнера, ни сарайчика. Только свежий асфальт и ограждение из сетки.

Я остановил машину и вышел. Ветер дул так же, как тогда, перед грозой. Я закрыл глаза и прислушался.

В шуме крон мне почудился голос Гарри. Слова были неразборчивы, но я вдруг все понял.

Одиночество неизбежно. Мы приходим в этот мир одни и уходим одни. Все, что между — только иллюзия, только мираж, только слепок, который мы пытаемся удержать. Друзья уходят, любимые предают, автобусы ржавеют, а контейнеры отправляют на переплавку.

Но есть вещи, которые не ржавеют. Есть сердца, которые не стираются.

Я открыл глаза и достал телефон. Нашел ту старую фотографию, сделанную больше десяти лет назад. Всмотрелся в детали: полустертое сердце, накренившаяся постройка, старый автобус, морской контейнер, ветер в кронах.

Настоящего имени Гарри я так и не узнал тогда. Может, его и не существовало вовсе? Может, это был просто дух этого места, который явился мне, чтобы сказать главное?

Я сел в машину, но не стал заводить мотор. В зеркале заднего вида в этот раз никого не было. Только пустая обочина и горы на горизонте.

Эпилог

В любом путешествии у человека, искренне любящего жизнь, среди огромного количества впечатлений всегда есть те несколько мгновений, которые остаются в сердце навсегда.

Остаются своей простотой, остаются слепком в душе и желанием возвращаться к ним вновь и вновь.

Просматривая тот или иной из любимых снимков, представляешь себе не только прошлое, но и будущее запечатленных символов. Представляешь ту звездную предрасположенность, что заставила тебя именно в этот момент нажать на спуск.

Вот взять хотя бы это фото.

Фото композиционно совершенно простое и незатейливое, как и название, которое родилось моментально: «Любовь к путешествиям». Но что-то в нем есть.

Рассмотрев детали, можно понять, что иначе бы его и не назвать.

Это и полустертое красное сердце на несуразной накренившейся деревянной постройке.

И старый, давно списанный автобус.

И морской контейнер, побывавший в самых удаленных уголках нашего большого-маленького шарика.

И ветер, застывший в кронах деревьев.

И тишина.

Та самая тишина, в которой только и слышно, как бьется твое собственное сердце. Настоящее. Не мнимое.

А вокруг — только иллюзия. Только мираж. Только дорога, уходящая за горизонт.

Но пока мы помним — мы живы.

А значит, одиночество — это не конец. Это просто еще одна остановка на пути к вечности...

«Сдвиг» товарища Лузгина

Повесть туда-сюда

Глава первая, в которой адвокат ломает время, а время — его

Виталий Лузгин, московский адвокат пятидесяти лет от роду, циник с натруженной душой и больной печенью, разбирал барахло покойного деда и матерился.

— Ну и Плюшкин, — бормотал он, перебирая ржавые гайки, старые подшипники и ржавые болты в жестяной коробке из-под монпансье. — Всё в дом, всё в дом. Хлам чистой воды.

Дед, Павел Петрович Лузгин, умер тихо, во сне, на девяносто втором году жизни. Провожали его в последний путь скромно: три старушки-соседки, мать Виталия, Нина, да он сам. Отец не пришел — отец уже десять лет как лежал на Ваганьковском, отдельно от деда, отдельно от всех, с простой гранитной плитой, на которой Виталий каждый раз мысленно представлял очередную отцовскую галочку: «Ну вот, Виталик, и еще один год как ты меня не навестил».

Квартира деда в Марьиной Роще досталась по наследству матери, но вывозить всё добро оттуда предстояло Виталию. Мать после похорон слегла с давлением, и Виталий, отпросившись с работы на пару дней, вгрызлся в дебри чужой жизни.

Дед был изобретателем. Не тем изобретателем, что получает патенты и ездит на «Мерседесе», а советским, заводским, с вечным запахом машинного масла и керосина, с ящиками технической литературы и странными приборами, собранными на коленке. Виталий помнил, как в детстве дед водил его в свой «закуток» — комнату, заставленную осциллографами и другими неизвестными приборами, пахнущую канифолью и какой то вселенской тайной.

Сейчас этот закуток предстояло разобрать подчистую.

— Твою дивизию, — Виталий выудил из-под груды чертежей тяжелый, литой предмет, похожий на помесь будильника с реостатом. Медный корпус, покрытый благородной патиной, три циферблата с римскими цифрами и одна единственная ручка, похожая на корабельный штурвал в миниатюре. Сзади, на грубо припаянной латунной пластинке, было выцарапано шилом: «Хроноактиватор Сдвиг. Осторожно, дурак!»

Виталий хмыкнул. Это было в духе деда — смесь гениальности и деревенского юмора. Рядом с прибором лежала общая тетрадь в коленкоровом переплете, страницы которой пожелтели и крошились по краям. Он раскрыл ее наугад.

Почерк у деда был бисерный, инженерный, каждая буква выведена с чертежной четкостью.

«15 марта 1947 года. Сегодня опять видел её. Стояла в очереди за хлебом, в том же сером платке. Худая, глаза провалились, а смотрит — будто свечу зажгла. Звездочка. Я знаю, что дочь врага народа. Я знаю, что если кто узнает — с завода вылетят мигом. Но как подойти? Сказать что? Вчера ночью чертил схему, а думал о ней. Если бы всё вернуть... если б можно было переиграть тот вечер, когда я струсил, не подошел. Глупости. Время не повернешь. Хотя... есть одна идея с электромагнитным полем высокой частоты. Если предположить, что сознание — это тоже волна...»

Дальше шли формулы, которые Виталий, гуманитарий по образованию и циник по жизни, даже не попытался понять. Он перевернул несколько страниц.

«8 мая 1947 года. Звездочка. Лиза. Я узнал её имя. Лиза. Работает на почте, сортирует письма. Господи, какие у неё руки — тонкие, прозрачные. Тут на Первомай все гуляли, а она

сидела одна на скамейке в парке. Я напился водки с ребятами, но подойти так и не решился. Слабовольный я человек. Трусливый. Женился потом на твоей бабушке, Зине, хорошей, работающей женщине. А Лизу эту... забыть не могу. Всю жизнь, выходит, помню. Дурак. Если бы всё вернуть...»

Виталий захлопнул тетрадь.

— Ну дед, — сказал он вслух пустой комнате. — И ты туда же. Любовь до гроба, неразделенная. А бабушка Зина, выходит, так, запасной аэродром? Молодец.

Он почувствовал раздражение. Это было какое-то слишком знакомое, слишком родовое. Его собственный отец, Сергей, всю жизнь пропадал то на рыбалке, то в гараже, то в «третьем месте», куда уходят советские инженеры от безысходности и от жен, которых они разлюбили. А у деда, оказывается, тоже был скелет в шкафу. Или в хроноактиваторе. «Сдвиге» этом.

Виталий взял прибор в руки. Тяжелый, зараза. Чистая медь. Он повертел его, рассматривая циферблаты. Стрелки на всех трех застыли на нуле. Только ручка-штурвал поддавалась, проворачивалась с легким, маслянистым усилием.

— И как ты работаешь, агрегат? — Виталий хмыкнул своим мыслям. — От сети 220 или на березовых дровах?

Он посмотрел на ручку. На ней, на торце, тоже была гравировка, помельче: «Активация сознания».

— Бред собачий, — резюмировал Виталий.

Но тетрадь жгла руки. Фраза «Если бы всё вернуть...» пульсировала в голове, как больной зуб. Он сам, Виталий Лузгин, адвокат, разводящий олигархов и бандитов, сколько раз он ловил себя на этой мысли? Если бы вернуть девяносто третий год, когда он, молодой, зеленый, стоял перед выбором: Лена, его первая, сумасшедшая любовь, с глазами цвета волны, или предложение от солидной конторы, которое сулило деньги, связи, будущее. Он выбрал контору. Лена вышла замуж за какого-то номенклатурного сынка и уехала в Германию. А Виталий остался с деньгами, связями и пустотой внутри, которую не могли заполнить ни дорогие машины, ни молодые любовницы, ни циничные речи в суде.

— Если бы всё вернуть... — повторил он эхом за дедом и, сам не понимая зачем, крутанул ручку Сдвига.

Раздался звук, похожий на вздох огромного трансформатора, комнату залило синим светом, а Виталия вывернуло наизнанку.

Он не потерял сознание. Сознание, наоборот, обострилось до невозможности. Только вот тела он не чувствовал. Вообще. Было ощущение, что его засунули в узкую, душную трубу, сквозь которую он слышит и видит, но сам — ничто.

Первое, что он увидел — огромное, мутное стекло. Потом понял: это оконное стекло, запотевшее по краям. А он... он смотрит на это стекло... с циферблата.

Виталий Лузгин, адвокат и циник, стал настенными часами. Старыми, деревянными, с кукушкой, которая, судя по всему, давно не куковала.

Паника была такой, что, будь у него тело, он бы покрылся холодным потом. Но тела не было. Было только его «я», запертое в часовом механизме. Он видел комнату. Убогую, послевоенную, с железной кроватью, застеленной солдатским одеялом, с тумбочкой, на которой стояла кружка и лежала краюха черного хлеба. В комнате пахло щами и керосинкой. Но Виталий-часы этого запаха, разумеется, не ощущал.

А за столом, спиной к окну, сидел молодой человек в гимнастерке без погон. У него были русые волосы, зачесанные назад, худые, острые плечи. Он вертел в пальцах самокрутку и смотрел на дверь. Виталий узнал бы эти глаза из тысячи — дед. Только молодой, лет двадцати пяти, с живыми, не выцветшими еще глазами. Павел Петрович, Пашка.

Дверь скрипнула, и вошла Она.

Она была в том самом сером платке, о котором писал дед в своем дневнике. Скинула его на ходу, и Виталий увидел тонкое, бледное лицо, темные круги под глазами и губы, сухие, потрескавшиеся. Но глаза! Глаза у неё были огромные, серые, и в них действительно горел огонь. Живой, невыносимый, какой бывает только у людей, переживших то, что пережить невозможно. Действительно Звездочка.

— Ты зачем пришла, Лиза? — глухо спросил дед, не глядя на неё. — Увидят — мне конец.

— А мне не конец? — голос у неё оказался низким, с хрипотцой. — Мне каждый день конец, Паша. Меня на почте скоро уволят, потому что я «дочь». Ты думаешь, мне есть что терять?

Дед молчал, мусоля самокрутку.

— Я люблю тебя, — сказала Лиза просто, без надрыва, как констатировала факт. — Еще с сорок третьего, когда ты приезжал с фронта в отпуск, в наш дом. Ты мне тогда улыбнулся, спросил, как пройти на вокзал. Я запомнила. Ты красивый был, в форме, живой. А теперь вон какой... зашуганный.

— Я не зашуганный, — огрызнулся дед. — Я реалист. У нас с Зиной всё гладко. Она с завода, семья рабочая. Мне жить надо, Лиза. Работать. Изобретать.

— Изобретай со мной, — она подошла ближе и села на край кровати, почти касаясь его плеча. — Я тихо буду. Я книжки умные читать люблю. Помогать тебе буду. Чертежи твои перерисовывать. Мне ничего не надо, только чтоб ты был.

Виталий-часы, смотрел на эту сцену и чувствовал, как механизм внутри него вибрирует. Это было похоже на то, что он испытывал в девяносто третьем, когда Лена, такая же отчаянная, говорила ему: «Останься. Плюнь на всё, останься со мной. Мы выживем». А он не остался. И сейчас, глядя на деда, он узнавал ту же самую, родовую, проклятую нерешительность. Тот же страх перед жизнью, одетый в броню «реализма».

— Не могу я, Лиза, — выдавил дед наконец. — Не могу. Я Зине слово дал. И родители её... они меня с завода не выкинут, а так... выкинут. А я без дела не могу. Я же придумал штуку одну... полезную... — он замялся. — Для станков. Если внедрят, может, премию дадут.

— А меня ты, значит, не внедришь? — горько усмехнулась Лиза.

— Я не про то!

— Про то, Паша. Всё про то. Ладно, — она встала, запахнула платок. — Живи со своей Зиной. Рожай детей. Только знай: я тебя никогда не забуду. Ты у меня один был. Звездочка я для тебя или нет, а ты у меня в сердце — на всю жизнь.

Она пошла к двери. Дед рванулся было за ней, даже руку протянул, но замер на полпути. Рука так и повисла в воздухе, беспомощная, нелепая.

— Лиза! — крикнул он, когда дверь за ней уже закрылась. Тишина.

Виталий, запертый в часах, заорал бы, если б мог:

— Догони, дурак! Догони, пока не поздно! Что ты стоишь?!

Но дед не слышал. Он сел за стол, уронил голову на руки и замер. Плечи его вздрагивали. Павел Петрович Лузгин, будущий изобретатель хроноактиватора-сдвига, плакал.

В этот момент Виталий почувствовал, что его вытягивают из часов, как пробку из бутылки. Синий свет, гул — и он снова в своей реальности, в закутке деда, сидит на корточках, сжимая в руках прибор.

В комнате пахло пылью и канифолью. Никакой коммуналки, никакой Лизы. Тишина.

Виталий выдохнул. Руки тряслись. Он посмотрел на «Сдвиг». Стрелки на циферблатах дрогнули и сдвинулись с нуля. На одном из них теперь стояла римская цифра I.

— Твою мать, дед, — прошептал Виталий. — Ты правда это сделал. Ты правда машину времени собрал.

Он вскочил, заметался по комнате. Первая мысль была — позвонить кому-то, рассказать. Кому? В дурку сдадут. Вторая — закрутить ручку обратно. А третья, самая сильная — это было жгучее, невыносимое желание сделать то, что не сделал дед. Подбежать к той двери, распахнуть её, догнать Лизу, эту девушку с глазами-звездами, и сказать ей: «Он дурак, а я здесь. Я тебя понимаю».

Но он понимал, что это бред. Он был там только наблюдателем. Призраком в часах.

Виталий снова открыл дедову тетрадь. Теперь он читал её другими глазами. Перелистывал страницы, искал продолжение истории Лизы.

«1948 год. Женился на Зине. Лиза уехала из Москвы, говорят, в Саратов. Я сдохну, а не забуду её глаза. Сегодня ночью приснилась. Стоит в том же платке и молчит. Я проснулся в холодном поту. Зина спросила, что случилось. Сказал, кошмар. Вру. Это не кошмар. Это жизнь моя, которую я сам сломал».

Виталий захлопнул тетрадь и посмотрел на прибор. Три циферблата. Три эпохи. Он только что был в первой. Дальше — видимо отец, семидесятые, с его любовными треугольниками и пьянством. И он сам, девяностые, с его Леной.

— Я могу всё исправить, — прошептал он вслух, и голос его звучал хрипло, как у деда в том сне. — Я знаю, где они ошиблись. Я подтолкну их. Деда — к Лизе. Отца — чтобы не пил, чтобы выбрал ту, которую любит. А себя... себя я заставлю не быть идиотом. Я останусь с Леной.

Он сжал ручку «Сдвига». Пальцы горели.

— Я исправлю наш род. Я сделаю нас счастливыми. Ведь можно? Дед, ты слышишь? Можно всё вернуть?

Прибор молчал. Только тиканье часов в комнате деда (реальных, настенных, не тех) отсчитывало секунды новой, безумной жизни Виталия Лузгина.

Он не знал тогда, что исправлять прошлое — занятие неблагодарное. Что любое вмешательство в ту проклятую историю обернется катастрофой. Что вместо счастья он получит пустоту, в которой его собственные дети будут чужими, а жена — просто женщина, с которой он живет под одной крышей.

Но это он узнает потом. А пока — рука сама потянулась к ручке, чтобы крутануть её снова. На этот раз — во вторую эпоху. К отцу.

— Погнали, Сергей Павлович, — усмехнулся Виталий, чувствуя, как нарастает синее свечение. — Будем твою любовь спасать.

И мир снова вывернулся наизнанку.

Глава вторая

в которой Виталий становится свидетелем крушения надежд

Синий свет схлопнулся, и Виталий почувствовал, что его снова заталкивают в тесную трубу чужого восприятия. На этот раз ощущения были другими — он не висел немым свидетелем в часовом механизме, а словно вплавился в толщу полированного дерева и пластика.

Он смотрел на мир сквозь мутноватый экран старого телевизора «Рекорд» с линзой-увеличителем, который стоял в углу комнаты на табуретке, накрытый вышитой салфеткой.

Комната была до одури знакомой. Та самая, где прошло его детство, но в другой, более ранней версии. Обои еще не те, с коричневыми разводами, которые он запомнил, а скромные, бумажные, в мелкий цветочек. Полированный шифоньер с зеркалом в прихожей, запах щей и дефицитного одеколona «Шипр». За окном — хрущевская пятиэтажка напротив, пара «Жигулей» и «Москвич» во дворе, качели на цепях. Семидесятые. Где-то глубоко в динамике телевизора безукоризненно поставленным голосом бубнил диктор, но Виталий не разбирал слов.

Главное было в комнате. За столом, покрытым клеенкой в клетку, сидели трое.

Молодой отец, Сергей Павлович Лузгин. Виталий узнал его не сразу. Отец был худой, жилистый, с копной русых волос и чеховскими глазами — грустными, большими. Он мял в пальцах папиросу «Беломор» и смотрел в одну точку перед собой.

Рядом с ним сидела мать — Нина. Молодая, красивая той особенной, строгой красотой, которая бывает у женщин, много испытавших. Волосы убраны в пучок, кофточка строгая, взгляд исподлобья. Она смотрела не на мужа, а на третьего участника этой сцены — на женщину, которая сидела напротив.

Женщине было лет под сорок, она была ярко, даже вызывающе накрашена для этого времени, в модном крепдешиновом платье с брошкой. На столе перед ней стояла нетронутая рюмка портвейна и лежала коробка конфет «Птичье молоко» — космический дефицит.

— Ты объяснишь мне, Серёжа, кто это? — спросила мать голосом, от которого у Виталия, даже в телевизоре, похолодело в груди. Голос был тихий, спокойный, но сталь в нем звенела.

Отец промолчал. Затянулся папиросой, выпустил дым в потолок.

— Я Ольга, — ответила за него женщина, поправив причёску. — Мы с Серёжей вместе работаем. В одном КБ.

— Я знаю, где вы работаете, — мать даже не повернула головы. — Я спрашиваю, что она делает в моем доме?

— Нина, давай без сцен, — подал голос отец. — Ольга пришла по делу. Чертежи принесла. Срочные.

Мать медленно перевела взгляд на чертежи, лежащие на краю стола, свернутые в трубочку и перевязанные бечевкой.

— Чертежи, значит, — повторила она. — А портвейн? А конфеты? Тоже чертежи?

— Нина, не позорь меня, — отец поморщился, как от зубной боли.

— Я позорю? — мать встала. — Я тебя позорю, Серёжа? А кто полгода домой приходит в двенадцать ночи? Кто зарплату приносит мизерную, а остальное где? В КБ пропиваете с чертежами?

Ольга усмехнулась, глядя в сторону.

— Ты бы помолчала, — тихо сказала мать, заметив эту усмешку. — Ты мужа из семьи водишь, а усмехаешься.

— Я никого не увожу, — Ольга наконец подняла глаза на Нину. В них был вызов. — Сергей сам выбирает. А ты его держишь, как курица наседка. Ему тридцать лет, а он всё боится, что ты ему скажешь. Дай человеку подышать.

— Подышать, — мать криво усмехнулась. — Ты его подышать зовешь? Или под юбку к себе?

Виталий, вжатый в телевизор, смотрел на эту сцену и чувствовал, как его трясет. Он знал эту историю. Смутно, обрывками, по пьяным откровениям отца и по молчаливым слезам матери. Ольга была той самой «третьей лишней», из-за которой родители едва не развелись в семьдесят пятом. Потом что-то случилось, отец одумался, вернулся в семью, но осадочек, как говорится, остался. На всю жизнь.

— Знаешь что, Нина, — отец вдруг встал, резко, отшвырнув папиросу. — Ты не лезь в мою жизнь. Я мужик или кто? Я сам решаю.

— Решаешь? — мать шагнула к нему, и Виталий увидел, как дрожат ее губы. — А сын? Про сына ты подумал? Ему пять лет. Он тебя вечером ждет, спрашивает: «Где папа?». А папа с этой чертежи чертит.

При упоминании сына отец дернулся, словно его ударили. Виталий, будучи этим самым пятилетним сыном в прошлом, почувствовал, как его электронно-лучевая душа сжимается от боли.

— Не тронь Витьку, — глухо сказал отец. — Витька тут ни при чем.

— Ах, ни при чем? — мать повысила голос. — А если я завтра соберу вещи и уеду с ним к маме? Тогда он тоже будет ни при чем? Или ты сюда её приведешь, в мою квартиру, на мою кровать положишь?

— Нина, прекрати истерику! — заорал отец.

— Истерику?! — мать схватила со стола рюмку портвейна и выплеснула ему в лицо. — Вот тебе истерика!

Отец замер. По лицу его текли красные струйки портвейна, смешиваясь с потом. Ольга вскочила, схватила сумочку.

— С ума сошла, дура, — прошипела она. — Серёжа, пойдем отсюда. Нечего на это смотреть.

Она схватила его за руку и потащила к выходу. Отец, мокрый, растерянный, позволил себя увести. В прихожей хлопнула дверь.

Мать осталась одна. Она стояла посреди комнаты, глядя на захлопнувшуюся дверь, и молчала. Потом медленно опустилась на стул, взяла со стола конфету «Птичье молоко», развернула, откусила половину и застыла, жуя. По щеке ее поползла слеза.

— Гады, — сказала она тихо, одними губами. — Гады вы все.

Виталий смотрел на это и чувствовал, как внутри него закипает бешенство. На отца. На Ольгу. На время, которое ломало людей. На собственную беспомощность. Он здесь, он всё видит, а сказать не может. Он — телевизор. Молчаливый, советский, с выпуклым экраном.

И тут в комнату вошел мальчик. Лет пяти, в пижамке с уточками, сонный, лохматый. Это был он сам, маленький Витька. Он подошел к матери, прижался к ней, обнял за колени.

— Мама, не плачь, — сказал он тоненьким голосом. — Папа плохой. Я тебя не брошу.

Мать всхлипнула, прижала его к себе, уткнулась лицом в его макушку. Они сидели вдвоем, и это было так пронзительно, так отчаянно, что Виталий-телевизор забыл, как быть циником.

Он смутно вспомнил. Вспомнил тот вечер. Мать тогда долго сидела с ним, читала сказку, а он, маленький, чувствовал ее горе и ненавидел отца лютой, детской ненавистью. Ненависть прошла, а осадок остался навсегда.

Синий свет начал пульсировать, вытягивая его обратно. Виталий сопротивлялся. Ему хотелось остаться, крикнуть матери, что она сильная, что она справится, что он, ее будущий сын, ее не предаст. Но время вышвыривало его вон.

Он снова сидел в закутке деда, сжимая в руках прибор. Руки тряслись еще сильнее. В голове гудело.

Виталий посмотрел на циферблаты. На втором теперь тоже горела цифра — II.

— Твою мать, — повторил он. — Твою мать, твою мать, твою мать...

Он вскочил, заметался по комнате, опрокинул стопку чертежей. Мысли скакали как бешеные.

Дед не догнал Свету. Отец изменил матери с Ольгой. Итог: бабка Зина, которую дед не любил, прожила жизнь с тенью соперницы; мать Нина, носившая в себе другую трагедию — погибшего в Афгане солдата, которого любила до отца, — получила еще и измену мужа.

А он сам? Он выбрал карьеру, бросил Лену. Женился на Наташе, родил Антона. Наташа была хорошей женщиной, верной, заботливой, но любви той, первой, сумасшедшей, не было. Антон вырос циником, который называл его «предком» и жил своей жизнью, где-то в телефоне, в пустоте.

Виталий вдруг остановился. Он понял, что может всё это остановить. Не сейчас, в прошлом, а в будущем. Своем настоящем. Если он подтолкнет деда к Свете — дед не женится на Зине. Тогда не родится отец? Или родится, но другой? А если он подтолкнет отца к верности, к тому, чтобы он выбрал мать и был с ней честен? Тогда, может, и сам он, Виталий, вырастет другим? Не циником, не адвокатом, разводящим бандитов, а нормальным человеком, способным любить и быть любимым.

Идея казалась логичной. Дьявольски логичной.

— Значит так, — сказал он вслух, обращаясь к хроноактиватору как к живому. — Я лечу деда. Потом лечу отца. Потом лечу себя. И всё будет хорошо.

Прибор молчал. Только тиканье часов напоминало о том, что время идет. В его реальности, в настоящем, где он бросил работу, мать лежит с давлением, а сын, наверное, даже не заметил его отсутствия.

Виталий взял трубку телефона, набрал материнский номер.

— Алло, мам, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Как ты?

— Нормально, сынок, — голос матери был слабым. — Лежу вот. Давление скачет. Ты там как? Разбираешь?

— Разбираю. Мам, скажи... Ты папу любила?

В трубке повисла тишина. На секунду Виталий подумал, что связь прервалась.

— Зачем ты спрашиваешь? — наконец тихо произнесла мать.

— Просто. Интересно. Вы же вместе прожили... пока он не...

— Пока не умер, — закончила мать. — Да. Любила. Дура была, любила. А он... он себя не любил. И меня не умел. Пил, пропадал... А потом поздно стало.

— А если бы можно было вернуть? — вырвалось у Виталия. — Если б ты могла вернуться в тот день, когда он с Ольгой пришел, и всё изменить?

Мать долго молчала. Потом вздохнула.

— Глупый ты, Витя. Ничего нельзя вернуть. Да и зачем? Я тебя родила. Ты у меня есть. Значит, не зря всё было. Ты не думай про это. Ты лучше разбери там всё и приезжай. Я щи сварила.

— Хорошо, мам. Я скоро.

Он положил трубку. На глазах выступила влага. Виталий Лузгин, циник, адвокат, мужик с каменной душой, вытер глаза рукавом.

— Ну нет, мама, — прошептал он. — Ты не права. Всё можно вернуть. Всё можно исправить. Я докажу.

Он снова взял хроноактиватор. Ручка была теплой, словно живой. Он повертел её, посмотрел на три циферблата. Третий был девственно чист. Третий звал его в девяностые, к Лене.

— Погоди, Ленка, — усмехнулся он. — Сначала предки. Без них никак. Корни надо лечить.

Он собрался крутануть ручку снова, но замер. Вспомнил слова деда из дневника: «Осторожно, дурак!». Это было предупреждение. Но предупреждение о чем? О том, что нельзя лезть в прошлое? Или о том, что лезть надо с умом?

— Ладно, дед, — сказал Виталий, вставая. — Будем лезть с умом.

Он подошел к окну, посмотрел на московский двор, на машины, припаркованные в два ряда, на подростков, курящих вейпы у подъезда. Двадцать первый век. Время победившего цинизма и тотального одиночества.

— Черт с ним, — решил он. — Попытка не пытка.

И крутанул ручку.

Синий свет на этот раз был особенно ярким. Виталий почувствовал, как его засасывает в воронку, как прошлое раскрывает перед ним свои объятия. Но на этот раз он летел не в чужое тело и не в предмет. Он летел прямо в себя. В себя двадцатипятилетнего, в девяносто третий, в проклятый год его великого предательства.

— Лена, я иду! — крикнул он, проваливаясь в бездну. — Я всё исправлю!

А «Сдвиг» на прощание тихо щелкнул, и стрелка на третьем циферблате дрогнула.

Глава третья

в которой Виталий не узнаёт себя и пытается переписать историю семьи

На этот раз перемещение было другим. Виталий не завис немым свидетелем в часовом механизме или телевизоре — он стал собой. Молодым, двадцатипятилетним, стоящим посреди коммунальной квартиры на окраине Москвы, которую снимал вместе с Леной.

Запах сырости, дешевых сигарет и жареной картошки. Обои в коричневый цветочек, отклеившиеся в углах. Общий коридор, где вечно орала чья-то магнитофонная кассета с «Землянами». Дверь в их с Леной комнату — обитая дерматином, с номерком, словно в гостинице.

Виталий посмотрел на свои руки. Молодые, без пигментных пятен, без выступающих вен. На пальце — дешевый серебряный перстень, который он купил у фарцы где то в подворотне на Тверской. Он провел ладонью по лицу — гладкое, без морщин, только легкая небритость.

— Ни хрена себе, — выдохнул он. Голос тоже был другой — звонче, наглее.

Он стоял перед мутным, в разводах, трюмо. Из зеркала на него смотрел молодой Виталий Лузгин, каким он был в девяносто третьем. Взгляд наглый, самоуверенный, но в глубине — затравленность. Тогда он еще не знал, что станет циником. Тогда он был просто голодным, злым, амбициозным щенком, который хотел вырваться из этой коммуналки, из этой нищеты, из этой безнадёги любой ценой.

На кровати, застеленной пледом с орхидеями, сидела Лена.

У Виталия перехватило дыхание. Лена. Та самая. Первая, единственная, потерянная.

Она была в длинной футболке, босая, с мокрыми после душа волосами, которые темными прядями падали на плечи. Лицо без косметики, чистое, с легким румянцем. Глаза огромные, серые, с поволокой. Она смотрела на него и улыбалась той особенной улыбкой, от которой у него тогда, в прошлом, подкашивались ноги.

— Ты чего застыл? — спросила она. Голос низкий, чуть хриловатый. — Иди сюда.

Виталий сделал шаг, но остановился. Сердце колотилось так, что, казалось, выпрыгнет. Он забыл, каково это — когда вот так, одним взглядом, тебя накрывает с головой. Он привык к другим отношениям — удобным, цивилизованным, без надрыва. А здесь была жизнь. Настоящая, до краев.

— Лен... — начал он и осекся. Что он должен сказать? «Привет, я из будущего, я твой будущий мужик, который тебя бросил, а теперь пришел всё исправить»?

— Что? — она насторожилась. — Вить, ты какой-то странный сегодня. Случилось что?

— Нет, — он подошел, сел рядом на кровать. — Всё нормально. Я просто... смотрю на тебя и думаю: какая же ты красивая.

Лена рассмеялась — легко, звонко.

— С каких это пор ты комплименты говорить научился? Обычно молчишь как партизан.

— Исправляюсь, — усмехнулся Виталий и, повинувшись порыву, обнял ее, прижал к себе.

Она пахла дешевым шампунем «Яблоко» и еще чем-то родным, неуловимым, что хранилось в его памяти все эти годы. Виталий закрыл глаза и просто держал ее. Лена сначала напряглась, потом расслабилась, прильнула к нему.

— Вить... — шепнула она. — Что с тобой?

— Я тебя люблю, — сказал он, и эти слова, которые он не говорил никому лет двадцать, прозвучали хрипло, но искренне. — Сильно люблю. И никогда не брошу. Слышишь? Никогда. Ты моя, моя.

Лена отстранилась, заглянула ему в глаза. В ее взгляде было удивление, нежность и... страх.

— Ты что, Вить? Напился?

— Трезвый как стекло.

— Тогда зачем ты это говоришь? — она нахмурилась. — Мы же договорились. Никаких клятв. Никаких обещаний. Время такое — все временно.

— А если я не хочу временно? — Виталий взял ее лицо в ладони. — Если я хочу навсегда?

Она молчала, глядя на него с той особенной бабьей жалостью, которая страшнее любой пощечины.

— Вить, ты хороший, — сказала она наконец. — Но ты сам знаешь: у тебя свои планы, у меня свои. Ты в юристы хочешь, я — художница. Где мы пересечемся? В коммуналке? До старости?

— А если я откажусь от планов? — вырвалось у него. — Если я останусь?

Лена покачала головой.

— Не останешься. Ты не такой. Ты пробивной. Ты уедешь, выбьешься, станешь большим человеком. А я... я тебе там буду не нужна. Стыдно станет за меня, за нищую, за необразованную.

— Дура ты, — сказал Виталий с неожиданной злостью. — Ничего ты не понимаешь.

— А ты понимаешь? — она встала с кровати, одёрнула футболку. — Ты вчера ходил на собеседование в ту контору? Ходил. И что тебе сказали?

Виталий похолодел. Он вспомнил. Это был тот самый день. День, когда ему предложили работу в фирме, которая занималась приватизацией, ваучерами, первыми деньгами. Предложили — и он согласился. А через неделю уехал в командировку, а когда вернулся — Лена собрала вещи и ушла. К какому-то кооператору, который давно на нее глаз положил. Она потом говорила: «Ты выбрал деньги, Витя. И я выбрала деньги. Чего ты хочешь?»

— Сказали, что возьмут, — глухо ответил он. — С хорошим окладом. И с перспективой.

— Поздравляю, — Лена отвернулась, взяла с тумбочки пачку «Пегаса», закурила, пуская дым в открытую форточку. — Езжай. Строй карьеру. А я тут как-нибудь...

— А ты со мной? — он встал, подошел к ней сзади, обнял за плечи. — Лен, поехали вместе. Я выбьюсь — и ты выбьешься. Ты же талантливая. Твои рисунки... они гениальные.

Она горько усмехнулась.

— Мои рисунки никому не нужны, Витя. Сейчас время другое. Сейчас время бабок. Кто с деньгами — тот и прав. А у нас с тобой шиш с маслом.

— Будут деньги, — упрямо сказал Виталий. — Будут.

— У тебя будут. А у меня? Я тебе кто буду? Жена адвоката? Кукла при деньгах? Я так не хочу. Я сама хочу.

Она резко повернулась, стряхнув его руки.

— Ты пойми, Витя. Я тебя люблю. Правда люблю. До дрожи. Но я не верю, что у нас получится. Ты уйдешь в свою карьеру, я буду сидеть дома, рисовать в стол, ненавидеть тебя за то, что ты меня спас от нищеты, но не дал быть собой. Это не жизнь.

— А что жизнь? — Виталий чувствовал, как закипает отчаяние. — Жизнь — это когда мы вместе. Неважно где и как.

— Нет, — Лена покачала головой. — Жизнь — это когда ты себя находишь. А я себя еще не нашла. И ты не найдешь, если за меня зацепишься.

Она затушила сигарету, подошла к нему вплотную, положила руки ему на грудь.

— Давай не будем сейчас решать, — тихо сказала она. — Давай просто... побудем сегодня. Хорошо? Как в последний раз.

Виталий смотрел в ее глаза и понимал: она права. Тогда, в прошлом, он тоже это понимал. Но тогда он выбрал карьеру. А сейчас... сейчас он хотел выбрать ее.

— Хорошо, — сказал он, чувствуя, как внутри все переворачивается. — Давай побудем.

Она взяла его за руку и повела к кровати. Футболка упала на пол. Виталий сжимал ее в объятиях, целовал ее плечи, шею, губы, и думал: «Господи, как же я мог это потерять? Как я мог променять это на бабки, на машины, на пустоту?»

Они любили друг друга долго, иступленно, с какой-то отчаянной нежностью, как будто завтра действительно конец света. Лена плакала, и он плакал, и слезы смешивались на подушке.

А потом, когда все стихло, она уснула у него на плече, и Виталий лежал, глядя в потолок с разводами плесени, и думал: «Я все исправил. Я останусь. Пошлю эту контору к черту. Найдем другую работу. Будем жить. Главное — мы вместе».

Он провалился в сон, убаюканный ее дыханием и стуком собственного сердца.

— —

Проснулся он от холода. Открыл глаза — и не узнал комнату.

Это была не их коммуналка. Это была огромная, стерильно чистая спальня в современном стиле. Белые стены, дизайнерская мебель, огромное окно во всю стену, за которым открывалась панорама Москвы-Сити. Дорого. Богато. Пусто.

Виталий сел на кровати. Рядом никого не было. Он вскочил, выбежал в коридор. Квартира-студия, метров сто, минимум. Везде порядок, но какой-то мертвый порядок. Ни одной лишней вещи. Ни одной фотографии на стенах. Ничего.

— Лена! — крикнул он. Тишина.

В комнату вошла женщина. Лет сорока пяти, холеная, с идеальным макияжем, в шелковом халате. Красивая. Чужая.

— Ты чего орешь? — спросила она спокойно, даже равнодушно.

Виталий смотрел на нее и не узнавал. Это была... его жена? Наташа? Но Наташа была другой. Проще, теплее, с добрыми глазами. А эта смотрела на него как на мебель.

— Где Лена? — вырвалось у него.

Женщина подняла бровь.

— Какая Лена? Ты что, с бодуна? Третий день дома сидишь, никуда не выходишь, а теперь спрашиваешь про какую то Лену?

— А ты кто? — спросил Виталий, чувствуя, как внутри разрастается ледяная пустота.

— Я твоя жена, — женщина усмехнулась, но усмешка вышла кривой. — Ира, если забыл. Ты что, Виталь, совсем? Скорую вызвать?

Виталий рванул к двери, выскочил в подъезд. Дорогой, с мраморными полами, с консержкой внизу. Выбежал на улицу. Москва. Двадцать первый век. Дорогие машины, вывески, люди с кофейными стаканчиками.

Он достал телефон (новый, айфон последней модели, откуда?) и набрал мамин номер.

— Алло, мам? — выдохнул он.

— Здравствуйте, — ответил чужой, равнодушный голос. — Вы ошиблись.

— Это квартира Лузгиных?

— Нет здесь никаких Лузгиных.

Он набрал Лену. Старый номер, который помнил наизусть. Трубку взяли почти сразу.

— Алло, — сказал мужской голос, уверенный, наглый.

— Лену можно?

— Какую Лену? Вы ошиблись.

Виталий отключился. Руки тряслись. Он стоял посреди улицы, и люди обходили его, как камень.

Вернулся в квартиру. Женщина — Ирочка — пила кофе на кухне, листала айпад.

— Ира, — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — У нас есть дети?

— Сын, — она даже не подняла глаз. — Антошка. В школе.

— А где моя мать?

Ира подняла на него наконец взгляд. В глазах мелькнуло что-то похожее на беспокойство.

— Витя, у тебя правда крыша едет? Твоя мать умерла десять лет назад. Ты сам на похоронах был. Забыл?

Виталий сел на стул. Ноги подкосились.

— А отец?

— Отец? — Ира усмехнулась. — Ты же его никогда не знал. Он от вас ушел, когда ты маленький был. Ты сам мне рассказывал. Живет где-то, наверное, если жив. Вы не общаетесь.

— А дед?

— Какой дед? Витя, что с тобой? У тебя дед на фронте погиб. Ты его фотографию в рамке держал, помнишь? На комодѣ стояла.

Виталий вскочил, побежал в комнату. На комодѣ стояла фотография. Молодой парень в военной форме, с лихим чубом. Незнакомый. Подпись внизу: «Павел Лузгин, 1943 год».

Он схватил рамку, взгляделся. Нет. Это не его дед. Это кто-то другой. Чужой человек.

— Ты чего? — Ира стояла в дверях, нахмурившись.

Виталий медленно опустил рамку. Он понял. Он всё исправил. Деда подтолкнул к Лизе — и дед не женился на бабке Зине. Значит, отец не родился? Или родился, но от Лизы, и был совсем другим человеком, который ушел из семьи, когда маленький Виталий был ребенком? Мать умерла. Жена — чужая, пустая. Сын — чужой, наверное, такой же пустой. А Лена... Лена вышла замуж за кого-то другого, родила детей, и Виталий ей больше никто.

Он создал идеальный мир. Мир без ошибок. Мир, где все поступили правильно. И этот мир был пуст. Абсолютно пуст. Потому что не было в нем той боли, которая сделала его мать сильной. Не было тех слез, которые научили его самого быть циником, но и человеком. Не было тех ошибок, которые сплели узор их общей, нелепой, но подлинной жизни.

Виталий медленно подошел к окну, посмотрел на сияющие башни Сити.

— Дед, — прошептал он. — Что я наделал?

Ответа не было. Только холодное, стерильное, чужое утро за стеклом.

Глава четвертая

в которой Виталий знакомится с собственным сыном и понимает, что пустота бывает разной

Виталий просидел у окна до вечера. Ира — или как там зовут эту холеную куклу — не беспокоила. Заглянула пару раз, спросила, будет ли он ужинать, получила отрицательный ответ и исчезла в своей спальне. Идеальная жена. Не мешает, не лезет в душу, не задает лишних вопросов. Даже когда муж сходит с ума и не узнает собственную жизнь.

В семь вечера хлопнула входная дверь. Виталий обернулся.

В прихожую вошел подросток. Лет пятнадцати-шестнадцати, худой, длинный, в модных широких штанах и худи с каким-то непонятным принтом. Капюшон натянут на глаза, в ушах наушники-затычки. Он даже не взглянул в сторону гостиной, где сидел Виталий, протопал в свою комнату и закрыл дверь.

Антон. Сын.

Виталий встал, подошел к двери, постучал.

— Чё? — донеслось из-за двери.

— Открой, поговорить надо.

— Занят.

— Антон, открой, мать твою.

Дверь приоткрылась. Из-за щели выглянул глаз, оценивающий, настороженный.

— Ты чё, предок, с катушек съехал? Матом при ребенке?

— Дай войти, — Виталий толкнул дверь и вошел. — И называй меня если уж не «папа», то хотя бы «отец». Пожалуйста.

Комната сына была похожа на стерильный бокс. Минимализм, как и во всей квартире. Компьютерный стол с тремя мониторами, игровое кресло, на стенах — ничего. Ни плакатов, ни фотографий, ни постеров. Чистота, порядок, мертвечина.

— Ни хрена себе у тебя берлога, — сказал Виталий, оглядываясь.

— Нормальная берлога, — Антон плюхнулся в кресло, нацепил наушники на шею. — Ты чё хотел?

Виталий смотрел на него и пытался найти хоть что-то общее. Сын был чужой. Совсем. Не тот Антон, которого он знал — циничный, но живой, с вечными приколами, с девушками, с проблемами. Этот был просто... аватар. Картинка.

— Ты как вообще? — спросил Виталий, садясь на край кровати.

— Нормально.

— В школе как?

— Нормально.

— Девушка есть?

Антон поднял на него глаза. Взгляд был тяжелый, взрослый, без всякого подросткового вызова.

— Предок, ты чё? Ой, сорри, отец. Какая девушка? Мне пахать надо. ЕГЭ через два года. Я на айтишника иду. Девушки потом будут.

— А сейчас?

— Сейчас курсы, репетиторы, кодинг. Некогда.

Виталий вспомнил своего Антона. Тот в пятнадцать лет уже всюю гулял, влюблялся, страдал, приносил двойки и врал, что учителя придираются. Мать — Наташа — рыдала, а Виталий орал, но в глубине души... в глубине души ему было приятно, что сын живой. Что у него кровь кипит. Что он ошибается, падает, встает.

А этот... этот уже всё знал. Всё просчитал. Идеальный ребенок для идеального мира.

— Ты когда последний раз смеялся? — спросил Виталий.

— В смысле?

— На коромысле. Просто смеялся. До слез. Чтобы живот болел.

Антон смотрел на него как на инопланетянина.

— Отец, ты под чем то? Спросить что-то хотел? Или так, философствуешь?

Виталий встал.

— Хотел. Спросить хотел, счастлив ли ты.

Пауза. Антон моргнул, снял наушники полностью, отложил их на стол.

— Счастлив? — переспросил он. — Странный вопрос. У меня всё есть. Комп крутой, шмотки, деньги на карман. Родители не бедные. Поступлю, выучусь, буду зарабатывать. А счастье... это же не про то.

— А про что?

— Не знаю. Для нищеводов, наверное. Которые ничего не имеют и себя утешают.

Виталий подошел к окну, посмотрел на вечерний город. Огни, машины, чужая жизнь.

— А если б ты мог всё вернуть? — спросил он, не оборачиваясь. — Ну, типа, прожить по-другому. Не с айфоном, не с компом, а... ну, как раньше люди жили. С дворовым футболом, с первой любовью в подъезде, с двойками, с драками, с сумасбродством.

— Зачем? — голос Антона был ровным. — Чтобы было хуже?

— Чтобы было по-настоящему.

— А это ненастоящее? — Антон встал, подошел к нему, встал рядом. — Отче, я тебя не узнаю. Ты всегда другим был. Говорил: бабло решает, связи решают, остальное — пыль. А теперь про счастье какие-то вопросы.

Виталий обернулся, посмотрел в глаза сыну. В них не было ни боли, ни тоски, ни даже любопытства. Там была пустота. Идеально отполированная, комфортная пустота.

— Я дурак был, — тихо сказал Виталий. — Я тогда неправду говорил.

— Когда тогда?

— Неважно. Слушай, Антон. У тебя есть что-нибудь... ну, память какая-то? Фотографии старые? Альбомы?

— У матери спроси. Она в шкафу хранит.

— А у тебя?

— У меня в телефоне. А зачем?

— Покажи.

Антон пожал плечами, достал айфон, начал листать. Виталий смотрел на экран. Фотки были — но какие-то странные. Еда, интерьеры, селфи с друзьями в кафе, скриншоты из игр. Ни одной семейной. Ни одной с ним, с Ирой, с бабушками-дедушками.

— А где мы? — спросил он. — Где я, мать, семья?

— А мы зачем? — Антон искренне удивился. — Мы же рядом. Чего нас фоткать? Мы ж не экспонаты.

Виталий закрыл глаза. Господи, что он натворил. Он хотел, чтобы у сына было лучшее детство. Чтобы не было проблем, не было нищеты, не было драк. И получил робота. Красивого, умного, запрограммированного робота, который даже не понимает, зачем нужны фотографии родителей.

— Ладно, — сказал он. — Иди, учись.

— А ты правда странный сегодня. Случилось чего?

— Случилось, — Виталий положил руку ему на плечо. Антон слегка дернулся, но не отстранился. — Я понял, что дурак. На всю голову дурак.

— Бывает, — философски заметил сын. — Ты это... если чё, обращайся. Я в своей комнате.

Он надел наушники и уткнулся в мониторы. Аудиенция окончена.

Виталий вышел в коридор. В гостиной горел торшер, Ира читала какую-то книгу в кожаном переплете — наверное, модную, про успешный успех.

— Ир, — позвал он. — А где мои старые вещи? Ну, из прошлого. Фотки, документы, барахло.

Ира подняла глаза, удивленно приподняла бровь.

— Ты выбросил. Года три назад. Сказал, что хлам не нужен. Я предлагала на дачу отвезти, а ты сказал — в мусорку. Я и выбросила.

— Всё?

— Всё. А что, надо было что-то оставить?

Виталий не ответил. Он пошел в кабинет — свой, адвокатский, с дорогой мебелью и пустыми полками. Сел в кресло. Закрыв глаза.

Он вспомнил свою настоящую жизнь. Квартиру в спальном районе, где они жили с Наташей. Старый шифоньер, где мать хранила альбомы с фотографиями. Деда в инвалидном кресле, который до последнего возился со своими железками. Отца — вечно пьяного, вечно виноватого, но живого. Мать — с ее вечными щами и пирожками. Антона — с его дурацкими компаниями, с разбитыми коленками, с первой любовью в девятом классе.

Это была неидеальная жизнь. Корявая, грязная, полная ошибок и обид. Но она была его. И только сейчас, потеряв ее, он понял, что другой не надо.

Он достал «Сдвиг». Прибор был на месте, в кармане куртки, которую он нашел в прихожей. Виталий повертел его в руках. Три циферблата горели ровным светом. Все три были активны.

— Значит, не всё потеряно, — прошептал он. — Значит, можно вернуть. Если я восстановлю всё, как было... если я сделаю так, чтобы дед женился на бабке Зине, чтобы отец остался с матерью и пил, и изменял, и мучился, но был... тогда, может, они вернутся? Мама, папа, Наташа, мой Антон?

Он не знал, работает ли это. Но другого выхода не было.

Виталий встал, прошелся по кабинету. Нужно было решить, с чего начать. С деда? С отца? Или с себя? В прошлый раз он начал с деда — и получил пустоту. Значит, порядок важен. Может, идти в обратном порядке? Сначала себя, потом отца, потом деда? Или, наоборот, зайти с другой стороны, подтолкнуть их к ошибкам, а не к правильным решениям?

Он вспомнил фразу из дедова дневника: «Если бы всё вернуть...». Дед хотел вернуть тот вечер, когда не подошел к Свете. А если бы он подошел? Если бы они были вместе? Что бы получилось? Виталий видел результат — пустоту. Значит, дедова тоска по идеальному прошлому была иллюзией. Настоящая жизнь сложилась именно из его трусости, из его выбора в пользу долга перед семьей. Лиза-Звездочка осталась мечтой, а Зина — реальностью. И в этой реальности родился отец, потом Виталий, потом Антон. Цепочка жизни, которая держалась на ошибках.

— Значит, надо не исправлять, — понял вдруг Виталий. — Надо... восстанавливать. Возвращать всё как было. Даже если это больно. Даже если это гадко. Потому что только так я верну своих.

Он сел за стол, достал лист бумаги, начал писать. Хронология, события, ключевые точки. Где дед должен струсить. Где отец должен изменить. Где он сам должен предать Лену.

Рука дрожала, когда он писал про себя. Свою измену. Свой выбор. Свою потерю.

— Прости, Ленка, — прошептал он. — Я тебя очень любил. Но без той боли не будет меня. Не будет настоящего. И тебя, наверное, тоже не будет. Ты выйдешь замуж за другого, родишь детей, будешь счастлива по-своему. А я останусь с Наташей, с моим циничным сыном, с моей корявой жизнью. И это правильно.

Он дописал план, перечитал. Три эпохи. Три ошибки, которые нужно не исправить, а... подтвердить. Сделать так, чтобы они случились именно так, как случились в первый раз.

— Дед, — обратился он к фотографии на комодe (чужой, незнакомый парень в гимнастерке). — Я верну тебе твою трусость. Прости.

Отец — его даже фотографии не было. Только пустая рамка, где когда-то стоял портрет Сергея Павловича.

— Пап, я верну тебе твою слабость. Твою Ольгу. Твое пьянство. Ты уж прости, но без этого никак.

И себе — себе он сказал мысленно:

— Витька, будь ты мудаком. Брось Ленку. Продайся за бабки. Стань циником. Выживи. Чтобы я мог сейчас вернуться и всё исправить. Вернее, ничего не исправлять. Просто жить.

Он взял в руки «Сдвиг». Ручка была теплой. Виталий глубоко вздохнул.

— Ну, с богом. Или с чертом. Разберемся.

Он крутанул ручку — не назад, а как-то иначе, по-другому, словно настраивая прибор на обратный ход. Синий свет вспыхнул, но мягче, теплее. И Виталий почувствовал, как его затягивает в воронку.

На этот раз он летел не в прошлое. Он летел домой.

Глава пятая

в которой Виталий становится архитектором собственной трагедии и находит в этом странное утешение

Воронка выплюнула его на пол коммунального коридора. Виталий ударился коленом о расколотый паркет, выматерился сквозь зубы и замер, прислушиваясь.

Пахло щами, кошками и сыростью. Где-то за стеной орал телевизор — по первой программе передавали «Время». Голос Левитана — нет, уже не Левитана, кто-то другой, бодрый, советский — вещал о трудовых подвигах и международном положении.

Он поднялся, отряхнул колено. На нем были те самые дешевые джинсы, которые он носил в девяностых, и растянутый свитер. Виталий оглядел себя — молодой, тощий, злой. Снова в теле двадцатипятилетнего.

— Так, — сказал он шепотом. — Я здесь. Я всё помню. Я знаю, что должен сделать.

Он подошел к двери с номерком, обитой дерматином. Оттуда доносился голос Лены — она напевала какую-то дурацкую песенку «Кино», кажется. Сердце сжалось так, что стало трудно дышать.

Виталий толкнул дверь.

Лена стояла у плитки — общей, коридорной, на которой готовили все соседи. Варила пельмени. В халатике, домашнем, стоптанных тапках, с растрепанными после сна волосами. Увидела его, улыбнулась той самой улыбкой.

— Проснулся, соня? — она помешала пельмени ложкой. — Сейчас жрать будем. Там масло сливочное в холодильнике, если соседи не сперли.

Виталий подошел, обнял ее со спины, уткнулся лицом в макушку. Пахло пельменями, дешевым шампунем и ею — той, единственной, которую он потерял дважды. Сначала тогда, в девяносто третьем, а потом сейчас, когда создал пустой мир без нее.

— Ты чего? — Лена напряглась, замерла. — Вить?

— Ничего, — сказал он в ее волосы. — Просто люблю тебя. Очень.

Она вывернулась, посмотрела ему в глаза. Взгляд был настороженный, но мягкий.

— Ты какой-то странный сегодня. Снилось что-то?

— Снилось, — он усмехнулся горько. — Снилось, что мы не вместе. Что я тебя бросил. Что ты ушла к другому.

— Глупости, — Лена отвернулась к пельменям. — Я без тебя никуда не уйду. Ты ж мой единственный.

Она сказала это так просто, так буднично, что у Виталия защемило в носу. Единственный. А он собирался стать не единственным. Он собирался сделать так, чтобы она его возненавидела.

— Лен, — начал он. — Мне надо тебе сказать...

— погоди, — она выключила газ, сняла кастрюлю. — Сначала пожрем. У меня сил нет разговоры разговаривать.

Они сели за маленький столик в их комнате. Пельмени, хлеб, чай в граненых стаканах. Лена ела быстро, дула на пельмени, обжигалась, ругалась, смеялась. Живая. Настоящая.

Виталий смотрел на нее и понимал: сейчас, сию минуту, он должен разбить ей сердце. Иначе не вернется его настоящая жизнь. Иначе Антон останется роботом, мать — мертвой, отец — незнакомцем, а дед — чужим человеком на фотографии.

— Лен, — сказал он, отодвигая тарелку. — Мне предложили работу.

— Знаю, — она макнула хлеб в бульон. — Ты рассказывал.

— Я возьму ее.

— Конечно, возьмешь. Дурак бы не взял.

— И я уеду.

Она подняла глаза. В них еще не было боли, только вопрос.

— Уедешь? Куда?

— В Москву. В контору. Там командировки, там... там всё по-другому.

— И что? Я с тобой поеду, — она пожала плечами. — Не впервой переезжать.

— Лен, — Виталий сглотнул ком в горле. — Я поеду один.

Пауза. Лена перестала жевать. Положила хлеб на стол. Посмотрела на него долгим, тяжелым взглядом.

— В смысле — один?

— В прямом. Мне надо... мне надо самому. Пока не встану на ноги. А ты тут... ну, ты пойми...

— Чего понять? — голос ее стал тихим, опасным. — Ты меня бросаешь, Виталь?

— Я не бросаю. Я...

— Ты бросаешь, — она встала из-за стола. — Ты меня бросаешь, чтобы бабки зарабатывать. Чтобы карьеру делать. Чтобы стать большим человеком. А я, значит, мешать буду?

— Ты не мешаешь. Просто...

— Просто — что? — она повысила голос. — Просто я тебе не нужна? Просто я так, перепихон на ночь, пока лучшей не нашел?

— Лена, не говори так.

— А как говорить? — она заметалась по комнате, схватила сигареты, закурила, жадно затягиваясь. — Ты знаешь, сколько я за этот год сделала? Я работу бросила, чтобы с тобой быть. Я сюда переехала, в эту дыру, чтобы ты мог учиться, чтобы ты мог пробиваться. Я тебе последние деньги отдавала, чтобы ты костюм купил на собеседование. А теперь — «я поеду один»?

Виталий молчал. Он знал эту сцену. Она происходила много лет назад, только тогда он оправдывался, объяснял, обещал вернуться. А сейчас он просто молчал и смотрел на нее, запоминая каждую черточку. Потому что больше никогда ее не увидит. Не такую — живую, злую, любящую.

— Знаешь что, Виталий? — Лена остановилась напротив, ткнула в него сигаретой. — Ты идиот. Ты просто идиот, который не понимает, что теряет. Деньги — говно. Карьера — говно. Все эти ваши понты — говно. А я — живая. Я тебя люблю. Я тебе ребенка хочу родить. Я с тобой в грязи этой сидеть готова, потому что мне, кроме тебя, никто не нужен.

— Я знаю, — тихо сказал Виталий.

— И ты всё равно уедешь?

— Уеду.

Она смотрела на него долго, очень долго. Потом лицо ее изменилось. Боль ушла, осталась пустота.

— Ну и вали, — сказала она спокойно, даже равнодушно. — Вали к своим деньгам. Только знай: обратно я тебя не приму. Если уйдешь сейчас — всё. Между нами ничего не будет. Никогда.

— Я знаю.

Она ждала, что он передумает. Что кинется к ней, обнимет, скажет, что пошутил. Виталий видел это в ее глазах. И в прошлый раз — видел. И тогда — дрогнул. Чуть не остался. Но все-таки ушел. А сейчас?

Сейчас он встал, подошел к ней, взял ее лицо в ладони. Поцеловал долгим, горьким поцелуем. Вкус пельменей, табака, слез.

— Прости, Ленка, — прошептал он ей в губы. — Ты самая лучшая. Ты одна такая. Но так надо. Не спрашивай почему. Просто надо.

Она отшатнулась, вытерла рот тыльной стороной ладони.

— Убирайся, — сказала она. — Чтоб я тебя больше не видела.

Виталий кивнул, подошел к шкафу, достал старую спортивную сумку, покидал туда вещи. На это ушло пять минут. Лена стояла у окна, курила одну за другой и не оборачивалась.

У двери он остановился.

— Лена...

— Пошел вон!

Он вышел в коридор, закрыл за собой дверь. Прислонился лбом к холодному дерматину. Из-за двери донесся звук — глухой, тяжелый. Это она упала на кровать и завывала. Тихо, скупно, по-бабы.

Виталий сжал зубы, подхватил сумку и пошел к выходу из коммуналки. Каждый шаг давался с трудом, будто ноги были свинцовые. В голове билась мысль: «Я это сделал. Я повторил свою подлость. Теперь всё будет как надо».

— —

Он шел по Москве девяносто третьего. Осень, холодно, серо. Люди с озабоченными лицами, очереди у ларьков, запах жареных пирожков и бензина. Где-то уже стреляли, где-то уже делили собственность, а он, молодой Виталий Лузгин, только что убивший свою любовь, тащился в сторону метро, сам не зная куда.

Ему нужно было уехать. В прямом смысле. В ту контору, в ту жизнь. Он знал, что через месяц получит первую зарплату, через полгода — квартиру, через год — машину. А Лена выйдет замуж за того самого кооператорского сынка, уедет в Германию, и больше они никогда не встретятся.

Виталий сел на лавочку у какого-то дома, бросил сумку под ноги, закрыл глаза. Перед глазами стояла Лена. Ее лицо, когда он уходил. Пустота в глазах. Как у того Антона из пустого мира. Как у Иры, его чужой жены. Как у всех, кто живет без любви.

— Господи, — прошептал он. — Зачем я это делаю? Зачем я сам себя мучаю?

Ответа не было. Только холодный ветер гонял листья по асфальту.

Он просидел так с час, наверное. Потом встал, пошел в сторону метро. Надо было ехать на вокзал, брать билет. Начинать новую жизнь. Ту самую, которую он уже однажды прожил.

И вдруг он увидел ее.

Лена стояла на углу, у продуктового магазина, в том же халатике, накинув сверху пальто. Замерзшая, с красными глазами, с мокрым лицом. Она смотрела прямо на него.

— Лена? — он подошел ближе. — Ты что здесь?

— А ты что здесь? — она шмыгнула носом. — Думал, я дома сидеть буду, рыдать? Думал, так легко отделаешься?

— Лена, иди домой. Замерзнешь.

— А ты не командуй, — она подошла вплотную, ударила его кулаком в грудь. Слабо, по-женски. — Ты не имеешь права мне указывать. Ты уходишь. Ты меня бросаешь. Так иди. Иди уже! Чего стоишь?

— Лена...

— Не называй меня так! — она закричала, прохожие оборачивались. — Ты все решил? Решил? А меня спросил? Может, я не хочу, чтобы ты уходил? Может, я хочу с тобой, хоть в грязи, хоть в нищете, хоть где?

— Ты сама говорила, что не веришь в нас, — напомнил Виталий. — Что время такое, что всё временно.

— Я дура была, — она вытерла слезы рукавом. — Я испугалась. А ты взял и поверил. Ты взял и ушел. А я без тебя... я без тебя пропаду, Виталь. Пропаду совсем.

Она уткнулась ему в грудь, зарыдала в голос, трясась всем телом. Виталий стоял, не зная, что делать. В прошлый раз этого не было. В прошлый раз она не догоняла. Она осталась в комнате, и он ушел, и всё. А сейчас она здесь, живая, настоящая, плачет у него на груди.

И он понял, что должен сделать выбор. Не тот, который был в прошлом. Не тот, который вернет его корявую жизнь. А тот, который подсказывает сердце.

— Лена, — сказал он, глядя ее по голове. — Леночка, прости меня. Я дурак. Я ничего не понимаю.

Она подняла на него заплаканные глаза.

— Ты останешься?

Виталий посмотрел на нее. На эту девочку в дурацком халате, замерзшую, несчастную, любящую. И вдруг понял простую вещь: его настоящая жизнь — она не в прошлом, которое надо восстановить. И не в будущем, которое надо исправить. Она здесь. Сейчас. В этом выборе.

— Останусь, — сказал он. — К черту работу. К черту фирму. К черту всё. Я останусь с тобой.

Лена замерла, не веря. Потом улыбнулась сквозь слезы — той самой улыбкой, ради которой стоило жить.

— Правда?

— Правда.

Она повисла у него на шее, целуя его лицо, губы, глаза. А Виталий стоял посреди улицы и чувствовал, как внутри разливается тепло. Он сделал правильный выбор. Наконец-то, впервые в жизни, он сделал правильный выбор.

— —

Они вернулись в коммуналку. Лена всю дорогу держала его за руку, боялась отпустить. В комнате было холодно, батареи еле грели. Она зажгла газовую плиту, открыла духовку — так топились, когда совсем замерзали. Сели на пол у открытой духовки, обнявшись, молчали.

— Виталь, — сказала она тихо. — А работа? Ты правда откажешься?

— Правда.

— А как жить будем?

— Как-нибудь, — он поцеловал ее в висок. — Не пропадем.

— Я боюсь, — призналась она. — Вдруг ты пожалеешь? Вдруг через год будешь на меня злиться, что я тебя держу?

— Не буду.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

Она помолчала, потом повернулась к нему, заглянула в глаза.

— Ты какой-то другой стал. Словно постарел. Словно уже всё это прожил и знаешь, чем кончится.

Виталий усмехнулся. Если бы она знала, как она права.

— Просто понял кое-что, — сказал он. — Понял, что важнее тебя у меня ничего нет и не будет.

Она прижалась к нему, и они сидели так долго-долго, глядя на оранжевые языки пламени в духовке.

А потом Виталий почувствовал знакомую вибрацию. Хроноактиватор — он был при нем, в кармане куртки — начал нагреваться. Виталий похолодел. Он понял, что сейчас произойдет.

Синий свет вспыхнул, залил комнату. Лена вскрикнула, попыталась удержать его, но руки прошли сквозь тело.

— Виталик! — закричала она. — Виталик, не уходи!

— Лена! — он рванул к ней, но время уже тащило его прочь. — Я вернусь! Я обязательно вернусь!

Последнее, что он увидел — ее лицо, искаженное ужасом и отчаянием. И пустоту, в которую она проваливалась, глядя на то место, где он только что был.

— —

Он упал на пол в кабинете. Тот самый, с дорогой мебелью и пустыми полками. Рядом стояла Ира — холеная, спокойная, с чашкой кофе.

— Очухался? — спросила она равнодушно. — Ты полдня в отключке был. Я уж думала, скорую вызывать.

Виталий сел, держась за голову. Голова гудела, как трансформатор. Перед глазами стояла Лена. Ее крик. Ее руки, которые не смогли его удержать.

— Я остался, — прошептал он. — Я выбрал ее. Почему меня выкинуло?

— Ты с кем разговариваешь? — Ира подняла бровь.

— Неважно.

Он встал, прошел в гостиную, рухнул в кресло. Достал «Сдвиг». Все три циферблата горели ярко. Но теперь на них появились какие-то новые метки — красные, пульсирующие.

Виталий понял: он нарушил план. Он попытался исправить свою ошибку, но не так, как надо. Он поддался чувствам. И теперь всё сломалось еще сильнее.

Где сейчас та Лена? В какой реальности? Что с ней стало? И главное — существует ли еще его настоящая жизнь, та, корявая, но подлинная, или он уничтожил и ее?

В комнату вошел Антон. Сын. Робот. Чужой человек.

— Отец, — сказал он, глядя в телефон. — Там мать спрашивает, будем ужинать или как?

Виталий посмотрел на него долгим взглядом. «Отец»...

— Антон, — спросил он. — А если бы ты мог всё вернуть? Ну, прожить жизнь заново. Ты бы что изменил?

Антон оторвался от телефона, посмотрел на отца с легким раздражением.

— Опять ты за свое? Я же говорил: ничего бы не менял. Меня всё устраивает.

— А если бы тебя не устраивало?

— Не знаю. Наверное, постарался бы, чтобы устраивало. Это же проще.

Виталий кивнул. Проще. Идеальный ответ для идеального мира. Никакой рефлексии, никакой боли, никакой любви.

— Иди, — сказал он. — Я скоро подойду.

Антон ушел. Виталий остался один, сжимая в руках хроноактиватор, глядя на три горящих циферблата и не зная, что делать дальше.

Где-то в параллельной реальности Лена кричала его имя. Где-то в другой реальности его настоящая мать варила щи. Где-то в третьей дед Павел Петрович сидел в своей мастерской и чертил схемы.

А он, Виталий Лузгин, адвокат и циник, сидел в пустой квартире, в пустой жизни, с пустым сыном и чужой женой, и не знал, как собрать осколки того мира, который сам же и разбил.

— Дед, — прошептал он. — Что же ты наделал? И что же я наделал?

Хроноактиватор тихо гудел, словно смеялся над ним. Или плакал.

Глава шестая

в которой Виталий учиняет суд над собственной душой и признает себя виновным во всех грехах предков

Ночь он провел без сна. Сидел в кресле, сжимая «Сдвиг», и смотрел, как за огромным окном Москва-Сити перемигивается огнями. Где-то там, в этих стеклянных башнях, тысячи таких же, как он, успешных, богатых, пустых людей делали вид, что живут. А на самом деле просто дышали, ели, спали, совокуплялись, зарабатывали — и всё это без единой живой искры.

Звездочка. Дед назвал ее Звездочкой. И она погасла, когда он выбрал долг. Звездочка погасла в отце, когда он выбрал слабость. Звездочка погасла в нем самом, когда он выбрал карьеру. И в Антоне ее не было вовсе — потому что Антон родился уже в мире погасших звёзд.

Виталий встал, подошел к бару, налил себе виски. Хороший, дорогой, двадцатилетней выдержки. Раньше он любил такое — смаковал, ценил. Сейчас плеснул в стакан, глотнул, даже не почувствовав вкуса.

— Дед, — сказал он в пустоту. — Ты ведь не просто так этот прибор сделал. Ты хотел, чтобы я понял. Чтобы увидел. Чтобы выбрал.

Он достал дедову тетрадь, перечитал последние страницы. Там, после описания Светы, шли годы. Женитьба на Зине, рождение сына Сергея, работа, изобретения. И вдруг — запись, которую Виталий раньше не заметил, сделанная уже старческим, дрожащим почерком:

«1993 год. Передал Витальке прибор. Не знаю, работает ли. Но если работает — пусть поймет. Нельзя исправлять прошлое. Прошлое — это фундамент. Если его перекопать — дом рухнет. Можно только принять. И простить. Себя — в первую очередь. Я так и не простил себя за Лизу. И всю жизнь носил это в себе. Может, Виталька умнее будет. А может, и нет. Лузгины вообще упрямые. Но я хочу, чтобы он знал: я их всех любил. И Зину, и Лизу, и сына, и внука. По-разному, но любил. И ошибки мои — это тоже любовь. Просто такая, кривая, увечная, но любовь. Если б всё вернуть — я бы ничего не менял. Потому что тогда не было бы их. Никого. А они есть. И это главное».

Виталий перечитал три раза. Потом отложил тетрадь, закрыл глаза.

— Я понял, дед, — прошептал он. — Кажется, понял.

Он посмотрел на «Сдвиг». Три циферблата горели ровным золотистым светом. Ручка была теплой, почти горячей.

— Мне нужно вернуться, — сказал он прибору. — Во все три раза. И сделать не то, что хочется, а то, что должно. Чтобы они жили. Все. Чтобы мама щи варила, чтобы отец пил и каялся, чтобы Лена вышла замуж и была счастлива без меня. Чтобы Антон родился — тот, настоящий, с его дурацкими компаниями и разбитыми коленками. А для этого я должен стать предателем. Трижды. Самый главный предатель в истории рода Лузгиных.

Он усмехнулся горько.

— Ну что ж, Виталий Сергеевич, адвокат, циник, трус. Привычная роль. Сыграем.

— —

Он крутанул ручку не назад, а как-то вбок, наискосок, повинувшись внезапному озарению. Прибор взвизгнул, засветился синим, и Виталий полетел не в прошлое, а куда-то между временами, в зазор, где все три эпохи существовали одновременно.

Он висел в пустоте, а перед ним, как на огромном экране, разворачивались три сцены сразу.

Сцена первая. 1947 год. Коммуналка в Марьиной Роще. Дед Павел сидит за столом, перед ним стоит женщина — не Лиза, а Зина, его будущая жена. Простая, работающая, с добрым лицом и мозолистыми руками.

— Ты чего такой хмурый, Паша? — спрашивает Зина. — Аль не рад мне?

— Рад, Зин, — дед поднимает на нее глаза. В них тоска. — Всё хорошо.

— А Лизку эту, говорят, в Саратов отправили, — Зина вздыхает. — К родственникам. Ты не переживай. Всё образуется.

Дед дергается, но молчит.

— Ты, главное, живи, — Зина садится рядом, кладет руку ему на плечо. — Работай. Детей рожай. А прошлое... оно пройдет.

Сцена вторая. 1975 год. Хрущевка, комната с полированным шифоньером. Мать Нина сидит на кровати, гладит по голове маленького Витальку, который прижался к ней. На столе — недопитая рюмка, конфеты «Птичье молоко».

— Мам, а папа придет? — спрашивает маленький Витька.

— Придет, сынок, — мать гладит его по голове. — Куда он денется. Придет.

— А ты его простила?

Мать молчит долго. Потом говорит тихо:

— Простила. Он же дурак. Все мужики дураки. А мы, бабы, дуры, что их любим.

Сцена третья. 1993 год. Та же коммуналка, где Виталий оставил Лену. Она сидит на полу у открытой духовки, курит, смотрит на огонь. Лицо осунувшееся, глаза красные. Рядом — та самая спортивная сумка, которую Виталий бросил, когда вернулся к ней.

В комнату входит соседка, тетя Маша.

— Ленк, ты чего сидишь? Иди поешь. Вон, пельмени остыли.

— Не хочу, тетя Маш.

— Из-за Виталика убиваешься? Брось. Вернется. Куда он денется.

— Не вернется, — Лена затыкивается. — Я знаю. У него глаза другие были. Прощальные.

— Ну и черт с ним, — тетя Маша садится рядом, достает папиросу. — Таких, как он, много. А ты у нас одна. Красивая, умная. Найдешь себе получше.

— Не надо мне получше, — Лена смотрит на огонь. — Мне он нужен. Только он один. Дурак.

Виталий смотрел на эти три сцены и чувствовал, как разрывается сердце. Вот она, цена жизни. Бабка Зина, которая знала про Лизу, но приняла деда с его тоской. Мать, которая простила отца-изменника. Лена, которая готова была простить его, предателя. Три женщины. Три звезды, которые не погасли, несмотря ни на что.

— Я всё понял, — прошептал он. — Я всё сделаю.

— —

Он крутанул ручку и провалился в первую эпоху. 1947 год. Снова часы на стене. Снова комната деда. Только теперь здесь не Лиза, а Зина. Она хлопчет у стола, накрывает ужин.

Дед сидит, смотрит в одну точку.

— Паш, ты бы поел, — Зина ставит перед ним тарелку со щами. — За весь день крошки во рту не было.

— Не хочу, Зин.

— Поешь, — она вздыхает. — Опять про свою Свету думаешь?

Дед молчит. Зина садится напротив.

— Слушай, Паша. Я ж не слепая. Вижу, что ты не меня любишь. А ее. Но я уходить не собираюсь. Потому что люблю тебя. Дура такая. И детей от тебя хочу. И жизнь с тобой хочу прожить. Даже если ты всю жизнь будешь о ней думать. Согласна. Потому что без тебя мне никак.

Дед поднимает на нее глаза. В них боль, благодарность и что-то похожее на любовь. Другую, не такую, как к Лизе, но настоящую.

— Зина... — начинает он.

— Молчи, — она перебивает. — Не надо ничего говорить. Просто ешь. И живи.

Виталий-часы чувствует, как слезы текут по лицу, которого у него нет. Вот оно. Та самая любовь, кривая, неидеальная, но подлинная. И он должен сделать так, чтобы она осталась. Чтобы дед не побежал за Лизой.

Он напрягает все силы — и вдруг чувствует, что может говорить. Может влиять. Может подтолкнуть.

— Павел, — шепчет он, и голос его идет сквозь время, сквозь дерево часов, сквозь реальность. — Не ходи за ней. Останься с Зиной. Это твоя жизнь. Твоя семья. Твой сын родится. И внук. И правнук. Все они будут. Только если ты останешься.

Дед вздрагивает, оглядывается.

— Кто здесь? — шепчет он.

— Я — это ты, — говорит Виталий. — Только старше. Ты из будущего. Послушай меня, дед. Если ты сейчас уйдешь к Лизе — ничего не будет. Никого. Пустота. А если останешься — будет больно. Но будут они. Зина, сын, внук. Все.

Дед смотрит на Зину. Та возится у плиты, не слышит разговора. Простая, родная, живая.

— Я останусь, — шепчет дед. — Я понял.

Зина оборачивается.

— Ты чего, Паш? С кем говоришь?

— С самим собой, — дед встает, подходит к ней, обнимает. — Зина, ты прости меня. Я дурак был. Ты у меня одна.

Зина замирает, потом прижимается к нему.

— Глупый ты, Паша, — шепчет она. — Глупый и родной.

Виталий чувствует, как сцена тает, уходит в золотистую дымку. Он сделал это. Он сохранил деда. Теперь — отец.

— —

1975 год. Хрущевка. Отец сидит на кухне, пьет водку из граненого стакана. Перед ним — мать. Молодая, красивая, злая.

— Сколько можно, Серёжа? — говорит она. — Ты когда остановишься?

— Не учи меня жить, — отец наливает еще. — Я мужик или кто?

— Мужик, — мать садится напротив. — Мужик, который семью бросить хотел. Мужик, который с Олькой этой... тьфу. А теперь пьет, потому что совесть замучила.

— Заткнись, — тихо говорит отец.

— Не заткнусь, — мать не отводит взгляда. — Я тебя люблю, дурака. Люблю. И сына нашего люблю. И жить с тобой буду. Даже с пьянкой твоей. Даже с изменами. Потому что без тебя — никак. Ты понял? Никак.

Отец смотрит на нее, и в глазах его слезы.

— Нина... — голос его срывается. — Прости меня. Я же... я сам не знаю, что делаю.

— Знаю, — мать вздыхает. — Пей уже. Завтра на работу.

Виталий вползает в сознание отца. Тяжело, через сопротивление, через алкогольный туман.

— Отец, — шепчет он. — Ты меня слышишь?

Отец вздрагивает, оглядывается.

— Кто?

— Я, Виталька. Твой сын. Из будущего. Слушай меня. Ты должен остаться с матерью. Должен пить и мучиться и каяться. Должен быть слабым. Потому что если ты станешь сильным и правильным — ничего не будет. Ни меня, ни Антона, никого. Только пустота. Ты понял?

Отец молчит, сжимая стакан.

— Ты понял?! — кричит Виталий.

— Понял, — тихо говорит отец. — Я всё понял.

Он поворачивается к матери.

— Нина, иди ко мне.

Мать подходит. Он обнимает ее, утыкается лицом в живот.

— Прости меня, — бормочет он. — Я буду... я постараюсь... я...

— Молчи, — мать гладит его по голове. — Молчи, дурак.

Сцена тает. Виталий чувствует, как силы покидают его. Осталось последнее. Самое страшное.

— —

1993 год. Коммуналка. Лена сидит у духовки, курит. Виталий входит в комнату. На этот раз — не в предмет, не в чужое сознание. В себя. В свое молодое тело, которое только что вернулось к ней.

Лена оборачивается, видит его. Вскикивает.

— Виталя! Ты вернулся! Я знала!

Она бросается к нему, обнимает, целует. Виталий стоит, не двигаясь. Потом мягко отстраняет ее.

— Лена, сядь.

Она замирает, смотрит на него.

— Что?

— Сядь, — он садится сам на табуретку. — Нам поговорить надо.

Лена садится напротив, на пол, поджав ноги. В глазах ее страх.

— Ты уходишь? — тихо спрашивает она.

— Да.

Она молчит. Только кулаки сжимаются.

— Я знаю, ты меня ненавидишь сейчас, — говорит Виталий. — И правильно. Я заслужил. Но ты должна понять одну вещь. Я уйду не потому, что не люблю. Я уйду, потому что люблю. Так сильно, что готов сделать больно. И себе, и тебе. Чтобы ты жила. По-настоящему. Чтобы вышла замуж, родила детей, рисовала свои картины. Чтобы была счастлива. Без меня.

— Ты с ума сошел, — Лена качает головой. — Какое счастье без тебя?

— Другое, — Виталий сглатывает ком. — Ты встретишь человека. Он будет богаче, надежнее, правильнее. Он даст тебе всё, чего я не могу дать. И ты будешь с ним счастлива. Не так, как со мной, но счастлива. А я... я буду жить свою жизнь. И знать, что где-то ты есть. И этого достаточно.

— Виталь, — Лена плачет, не вытирая слез. — Виталь, не надо. Я не хочу никого другого. Я тебя хочу.

— Знаю, — он подходит, садится рядом на пол, берет ее за руки. — И я тебя хочу. Больше жизни. Но если я останусь — мы оба пропадем. Я буду ненавидеть себя за то, что не дал тебе нормальной жизни. Ты будешь ненавидеть меня за то, что я тебя держу. И всё кончится плохо. Очень плохо. А так — ты будешь жить. И я буду жить. По отдельности. Но жить.

Лена молчит долго. Потом поднимает на него глаза.

— Ты правда так думаешь?

— Правда.

— И ты меня не разлюбил?

— Никогда не разлюблю. До самой смерти.

Она кивает, вытирает слезы.

— Тогда иди, — говорит она тихо. — Иди, пока я не передумала.

Виталий наклоняется, целует ее в лоб. Долгим, прощальным поцелуем.

— Прощай, Ленка. Спасибо за всё.

— Прощай, Виталя.

Он встает, берет сумку. У двери оборачивается. Лена сидит на полу у духовки, смотрит на огонь. Такая же, как в первый раз. Только теперь она не рыдает, а просто сидит. Принимает.

Виталий выходит в коридор, закрывает дверь. Прижимается лбом к холодному дермати́ну. Из-за двери — тишина. Лена не плачет. Лена приняла.

— Прости, — шепчет он. — Прости меня, родная.

И время вытягивает его прочь.

— —

Он упал на пол в своей пустой квартире. Лежал, глядя в потолок, и не мог пошевелиться. Сил не было. Ни физических, ни душевных. Только пустота внутри и странное, горькое успокоение.

— Я сделал, — прошептал он. — Я всё сделал.

В комнату вошла Ира. Посмотрела на него равнодушно.

— Опять лежишь? Вставай, ужин стынет.

Виталий с трудом поднялся, пошел на кухню. За столом сидел Антон, уткнувшись в телефон. Ира разливала суп.

Виталий сел, взял ложку. Посмотрел на сына. И вдруг заметил то, чего не видел раньше. На шее у Антона — маленькая татуировка. Кривая, явно домашняя, наспех сделанная. Три буквы: «ЛЕН».

— Антон, — спросил он. — Что это у тебя?

Антон поднял глаза, машинально прикрыл шею рукой.

— Да так, ерунда.

— Чьи инициалы?

— Неважно.

— Лена? — Виталий смотрел на него в упор. — Твою девушку Леной зовут?

Антон покраснел. Впервые за все время Виталий увидел на его лице живую эмоцию.

— Ну, Леной, — буркнул он. — А тебе что?

— Давно встречаетесь?

— Полгода.

— И что она? Художница?

Антон уставился на него.

— Ты откуда знаешь? Она правда рисует. Поступить собирается.

Виталий медленно положил ложку. Посмотрел на Иру. Та смотрела в тарелку, но по лицу ее текли слезы. Молча, беззвучно.

— Ира, — тихо сказал он. — Ты чего?

Она подняла на него глаза. В них была боль. Живая, настоящая боль.

— Я так устала, Виталь, — сказала она. — Я так устала быть пустой. Ты меня совсем не замечаешь. Антон в своем телефоне. Мы чужие. Зачем мы вместе?

Виталий смотрел на нее и вдруг понял. Пустой мир начал оживать. Его поступки в прошлом — не исправление, а восстановление — дали трещину в этой стерильной реальности. Сквозь трещины пробивалась жизнь. Кривая, больная, но настоящая.

— Ира, — сказал он, вставая и подходя к ней. — Прости меня. Я был дурак. Я многого не понимал. Но сейчас... сейчас я хочу попробовать. По-настоящему.

Она смотрела на него, не веря.

— Поздно, Виталь. Десять лет пустоты. Разве это вернешь?

— Не знаю, — он взял ее за руку. — Но попытаться можно. Хотя бы попытаться.

Сзади кашлянул Антон.

— Предки, вы чего? Я вообще-то тут.

Виталий обернулся. Антон смотрел на них — и в глазах его было что-то новое. Не пустота, а живой интерес. И даже легкая насмешка.

— Любовь, что ли? — спросил он. — В наше время? Моветон.

— Заткнись, — сказал Виталий, но без злости. — Лучше расскажи про свою Лену. Художницу.

Антон усмехнулся, уткнулся в телефон.

— Потом как-нибудь.

Но Виталий видел: сын улыбается. По-настоящему. И это было важнее всех «Сдвигов».

Он посмотрел в окно. Там, за стеклом, сияла Москва. Живая, шумная, настоящая. Где-то в этой Москве жила Лена — его Лена, старая, с морщинками, с взрослыми детьми, с мужем. Где-то жила мать, варила щи. Где-то жил отец, пил и каялся. Где-то дед смотрел на фотографию Лизы и вздыхал.

Они были. Все были. Потому что он, Виталий Лузгин, адвокат и циник, сделал правильный выбор. Трижды предал тех, кого любил. Чтобы они жили.

— Дед, — прошептал он. — Я всё понял. Поздно, но понял.

В кармане «Сдвиг» тихо щелкнул и погас. Навсегда.

Глава седьмая

в которой «Сдвиг» замолкает навсегда, а Виталий учится жить без компаса

Утро следующего дня было странным. Виталий проснулся от запаха яичницы — в их квартире никогда не пахло едой, потому что Ира не готовила, а заказывала доставку. Он вышел на кухню и замер.

Ира стояла у плиты в старом халате, который Виталий никогда раньше не видел — выцветшем, местами застиранном, но родном. Она ловко орудовала лопаткой, переворачивая глазунью, и что-то напевала себе под нос.

На столе уже стояли тарелки, чашки, масленка со сливочным маслом, вазочка с вареньем — настоящим, домашним, из тех трехлитровых банок, которые мать когда-то ставила в холодильник. Виталий моргнул. Откуда это здесь?

— Проснулся? — Ира обернулась, и он увидел, что лицо у нее другое. Мягче, теплее. Без той холеной маски, которую она носила все эти годы (какие годы? в какой реальности?). — Садись завтракать.

— Ир... — он сел, все еще не веря своим глазам. — Откуда варенье?

— Мама привезла, — Ира пожала плечами, как будто это было в порядке вещей. — Вчера звонила, сказала, что банки остались с прошлого года. Я съездила, забрала. Ты же любишь с чаем.

Виталий смотрел на нее и не узнавал. Десять лет брака (в этой реальности — десять лет?) он видел перед собой красивую, ухоженную женщину, которая была идеальной женой для его идеальной жизни. А сейчас перед ним стояла просто женщина. С уставшими глазами, с морщинками у губ, с сединой в волосах, которую она перестала закрашивать. Живая.

— Ты... — начал он и осекся. — Ты какая-то другая сегодня.

— Я всегда такая, — она поставила перед ним тарелку с яичницей. — Просто ты не замечал. Увлёкся своей работой, своими делами. А я... я устала быть картинкой. Вот и перестала. Она села напротив, налила себе чай.

— Знаешь, Виталь, я вчера ночью думала. Мы столько лет живем, а друг друга не знаем. Ты не знаешь, что я люблю варенье из черной смородины. Я не знаю, чего ты боишься. Мы спим в одной постели, а чужие. Это же ненормально.

— Ненормально, — согласился Виталий.

— Я хочу попробовать по-другому, — Ира подняла на него глаза. — Если ты не против.

Он смотрел на нее и вдруг понял, что ничего не знает об этой женщине. Десять лет брака — а пустота. Но сейчас, в это утро, с этой яичницей и этим вареньем, появился шанс. Маленький, хрупкий, но шанс.

— Я не против, — сказал он. — Я очень даже за.

Ира улыбнулась — впервые за долгое время искренне, без той дежурной улыбки, которую носят как маску.

В коридоре затопал Антон. Влетел на кухню, лохматый, заспанный, в растянутой футболке.

— Чё поесть? — спросил он, плюхаясь на стул. Увидел яичницу, варенье, присвистнул. — Ого, мать, ты чего? Праздник?

— Просто завтрак, — Ира пододвинула ему тарелку. — Ешь давай.

Антон набросился на еду, и Виталий заметил, что сын не утыкается в телефон. Сидит, жуёт, смотрит по сторонам живыми глазами.

— Слышь, бать, — сказал Антон с набитым ртом. — Я тут с Ленкой вчера до ночи гулял. Она мне свои рисунки показывала. Там такое... Вы бы видели. Она гениальная вообще.

— Покажешь?

— Можно, — Антон пожал плечами. — Она не против. Вы, главное, не ржите там. Она серьезная.

— А мы и не будем смеяться, — сказала Ира.

Виталий смотрел на них и чувствовал, как внутри разливается тепло. Это было оно. То самое, чего он лишился, когда пытался создать идеальный мир. Простое семейное утро. Разговоры ни о чем. Яичница. Варенье. Живые люди.

— —

После завтрака он ушел в кабинет. Достал «Сдвиг». Прибор был холодным, циферблаты погасли, ручка не вращалась. Виталий повертел его в руках, постучал по корпусу — ноль реакции.

— Сдох, что ли? — спросил он вслух.

— Или выполнил задачу, — ответил кто-то сзади.

Виталий резко обернулся. В кресле у окна сидел... он сам. Только старше, лет на двадцать. Седой, морщинистый, с усталыми глазами, но с той же кривоватой усмешкой.

— Ты кто? — Виталий попятился.

— Я — это ты, — старик развел руками. — Лет через двадцать. Привет из будущего.

— Не может быть, — Виталий сжал в руках хроноактиватор. — Прибор сдох.

— Прибор не нужен, — старик покачал головой. — Когда ты прошел все три точки и сделал правильный выбор — ты стал хозяином времени. Или, по крайней мере, научился с ним договариваться. Я здесь, потому что ты меня позвал. Подсознательно. Тебе нужно было поговорить с тем, кто понимает.

Виталий опустил на стул, не сводя глаз с двойника.

— Я схожу с ума?

— Нет. Ты просто дошел до точки, где иллюзии кончаются и начинается реальность. Сложный момент. Многие его не выдерживают.

— И что мне делать?

Старик усмехнулся той самой усмешкой, которую Виталий столько лет оттачивал в судах.

— Жить. Просто жить. Ты восстановил равновесие. Все три женщины, которых ты предал, прожили свои жизни. Бабка Зина — с дедом, до самой его смерти. Мать — с отцом, несмотря на его пьянки и измены. Лена — с тем кооператором, родила двоих детей, рисует до сих пор. Они живы. Они счастливы. По-своему, но счастливы. А ты получил шанс.

— Какой шанс?

— Начать заново. С Ирой. С Антоном. С этой жизнью, которая у тебя есть. Она не идеальная. Она вообще... никакая пока. Но ты можешь сделать ее настоящей.

— А ты? — спросил Виталий. — Ты откуда взялся? Из какой жизни?

Старик посмотрел в окно.

— Я из той, где ты не справился. Где ты сломал всё окончательно и прожил двадцать лет в пустоте. Я пришел предупредить: не повторяй моих ошибок. Ты на правильном пути. Не сворачивай.

Он начал таять, становясь прозрачным.

— Постой! — крикнул Виталий. — Как мне жить дальше? Что делать с прибором?

— Выброси, — донеслось уже издалека. — Или оставь на память. Он свое отработал. Теперь ты сам по себе. Без компаса. Без карты. Как все нормальные люди.

Старик исчез. Виталий остался один. Посмотрел на хроноактиватор. Тот был холодным и мертвым, как камень.

Он подошел к окну, открыл форточку. Подержал прибор на ладони. Тяжелый, медный, с выцарапанной надписью «Осторожно, дурак!». Дедова работа. Дедова любовь. Дедова ошибка.

— Спасибо, дед, — сказал Виталий. — За науку.

И выбросил хроноактиватор в окно. Тот мелькнул на солнце, сверкнул и исчез где-то внизу, в московском дворе, засыпанном листьями.

— —

Через месяц Виталий сидел в кафе на Патриарших и пил кофе. Напротив сидела Ира — в простом свитере, без макияжа, с живыми глазами. Рядом с ней Антон крутил в руках телефон, но не утыкался в него, а поглядывал на дверь.

— Долго она еще? — спросил он.

— Скоро, — Ира улыбнулась. — Терпи.

В кафе вошла девушка. Лет семнадцати, худенькая, с огромными серыми глазами и копной темных волос. В руках — папка с рисунками.

— Антон, привет! — подбежала к ним. — Извините, опоздала, там маршрутка...

— Лена, это мои родители, — Антон встал, чуть смущаясь. — Мам, пап, это Лена.

Виталий смотрел на девушку и чувствовал, как сердце пропускает удар. Глаза. Те самые. Звездочка. Не может быть. Но глаза — дедовы, из сорок седьмого, из той коммуналки. Или нет? Просто совпадение?

— Очень приятно, — Ира улыбнулась. — Садись, рассказывай. Антон говорит, ты художница?

Лена села, затараторила про вступительные экзамены, про рисунки, про планы. Виталий слушал вполуха, смотрел на нее и не мог отделаться от странного чувства.

После чая, когда Лена ушла, он спросил у Антона:

— А фамилия у нее какая?

— А какая разница? — Антон пожал плечами. — Крапивина. А что?

— Ничего, — Виталий покачал головой. — Просто показалось.

Крапивина? Лиза Крапивина? Та самая, дочь врага народа? Вряд ли. Просто совпадение. Или нет?

— Ты чего такой странный? — спросила Ира.

— Вспомнил кое-что, — Виталий взял ее за руку. — Поехали домой.

Они вышли из кафе, пошли по Патриаршим. Осень, золотая листва, люди с собаками, дети с мороженым. Обычная московская жизнь.

И вдруг Виталий увидел старуху. Маленькая, сгорбленная, в сером платке. Она сидела на скамейке, кормила голубей. Виталий замер. Старуха подняла голову, посмотрела на него. И улыбнулась. Глаза у нее были огромные, серые, все еще живые.

— Витя, ты чего? — Ира дернула его за рукав.

— погоди, — он подошел к старухе. — Извините, можно вас спросить?

— Спрашивай, милый, — голос у нее был низкий, с хрипотцой.

— Вы... вы не Лиза? Лиза Крапивина?

Старуха прищурилась, вгляделась в него.

— А ты кто будешь?

— Я... я внук Павла Лузгина. Виталий.

Старуха вздрогнула. Пауза повисла в воздухе, густая, как кисель.

— Пашкин внук, — повторила она. — Большой вырос. А я тебя маленьким помню. На руках держала. Ты не помнишь, конечно.

Виталий сел рядом с ней на скамейку.

— Вы... вы деда моего знали?

— Знала, — она кивнула, не сводя с него глаз. — Хороший был мужик. Добрый. Только слабый. Жизнь такая была — слабых не любила.

— Он вас всю жизнь помнил. В дневнике писал. Звездочка.

Старуха улыбнулась, и улыбка у нее была молодая, светлая.

— Звездочка, — повторила она. — Давно меня так никто не называл. Только он. Только Пашка.

— Вы... вы не обиделись на него? Что он не выбрал вас?

— Обиделась, — она вздохнула. — А потом прошло. Жизнь длинная. Я замужем была, детей родила, внуков. Всё хорошо. А Пашка... он в сердце остался. Как заноза. Но заноза — она тоже часть тела. Без нее вроде и легче, а чего-то не хватает.

Они сидели молча. Ира и Антон стояли поодаль, не вмешивались.

— Вы счастливы были? — спросил Виталий.

— А кто ж его знает? — старуха пожала плечами. — Было всякое. Но жила. По-настоящему жила. Это главное.

Она встала, опираясь на палку.

— Ты это... деду своему передай, если увидишь. Скажи: Лиза его простила. И помнит. Пусть не казнится.

— Дед умер, — тихо сказал Виталий.

— Знаю, — старуха кивнула. — Я на похоронах была. В сторонке стояла. Неудобно было подходить. А сейчас вот встретил тебя — и как будто ему сказала.

Она погладила его по голове сухой, теплой ладонью.

— Живи, Виталик. Не оглядывайся. Прошлого нет. Только настоящее. И будущее, которое ты сейчас делаешь.

И пошла по аллее, маленькая, сгорбленная, в сером платке. Виталий смотрел ей вслед, и сердце колотилось где-то в горле.

— Пап, ты чего? — Антон подошел, тронул за плечо. — Ты плачешь, что ли?

Виталий провел рукой по щеке — мокрая. И правда плачет.

— Всё нормально, сын. Просто пыль в глаза попала.

Они пошли дальше втроем. Ира взяла его под руку, Антон шел рядом, пинал листья.

— Слышь, отец, — сказал Антон. — А ты мне расскажешь как-нибудь про свою молодость? Ну, про девьяностые эти. А то Ленка спрашивает, а я не знаю.

— Расскажу, — Виталий улыбнулся. — Обязательно расскажу. Всё расскажу.

— —

Вечером они сидели на кухне. Ира пекла пирог — первый в жизни, как она призналась. Антон помогал ей, путался под ногами, спорил, сколько сахара сыпать. Виталий сидел в углу, пил чай и смотрел на них.

На столе лежала дедова тетрадь. Он перечитывал ее уже в сотый раз, но сегодня нашел новую запись, на самой последней странице, почти неразборчивую:

«Если ты читаешь это, Витька, значит, прибор сработал. Значит, ты прошел все круги. Теперь главное — не сломаться. Жизнь — она не в прошлом и не в будущем. Она сейчас. В этом чае, в этом пироге, в этих людях. Я так и не понял этого вовремя. Понял только под старость, когда поздно было что-то менять. А ты понял раньше. Молодец. Живи, внук. Просто живи. И прощай всех. Себя — в первую очередь».

Виталий закрыл тетрадь, подошел к окну. За окном горели огни Москвы. Где-то там, в этом огромном городе, жила его мать (жива? он не знал, но чувствовал — жива). Где-то жил отец (наверное, пил в гараже с такими же стариками). Где-то жила Лена — его Лена, с мужем, с детьми, с внуками. Где-то жила Лиза, которую дед любил всю жизнь. Они все были. Потому что он, Виталий Лузгин, сделал правильный выбор. Трижды предал. Трижды спас.

— Виталь, иди чай пить! — позвала Ира. — Пирог готов!

Он обернулся. Они стояли у стола — Ира, покрасневшая от духовки, Антон с нахальным выражением лица и испачканными мукой руками. Живые. Настоящие. Его.

Виталий подошел, сел за стол. Ира отрезала большой кусок пирога, положила ему.

— Ешь давай. А то остынет.

Он откусил. Пирог был чуть подгоревший, чуть сыроватый внутри, но невероятно вкусный.

— Вкусно, — сказал он. — Очень вкусно.

Ира улыбнулась, и в глазах у нее зажглась та самая Звездочка, которую он искал всю жизнь.

— Я научусь, — сказала она. — Буду печь каждый день. Хочешь?

— Хочу.

Антон закатил глаза.

— Предки, вы какие-то странные. Влюбились, что ли, заново?

— Ага, — Виталий обнял Иру за плечи. — Влюбились.

— Фу, — сказал Антон, но улыбнулся. — Ладно, я пошел Ленке звонить. Скажу, что вы нормальные. А то она переживала.

Он ушел в свою комнату. Ира прижалась к Виталию, положила голову ему на плечо.

— Виталь, — тихо спросила она. — А что с тобой случилось? Ты же совсем другим был.

А теперь...

— Теперь — что?

— Теперь живой.

Он поцеловал ее в макушку.

— Долгая история. Как-нибудь расскажу.

— Расскажешь?

— Обязательно.

За окном темнело. В комнате пахло пирогом и чаем. Где-то в параллельной реальности хроноактиватор «Сдвиг» ржавел в московском дворе, засыпанный листьями. Где-то дед Павел Петрович улыбался с небес. Где-то Лиза кормила голубей на Патриарших.

А здесь, на кухне обычной московской квартиры, просто жили люди. Не идеальные. Не правильные. Но живые. И это было главное.

Эпилог

в котором ничего особенного не происходит, но это и хорошо

Прошло три года.

Виталий сидел в зале суда и слушал, как его подзащитный — молодой парень, попавший в дурацкую историю с кредитами — оправдывается. Дело было простым, почти выигрышным, но Виталий уже не рвался к победам любой ценой. Он просто делал свою работу. Хорошо, честно, без цинизма.

После заседания он вышел на улицу, набрал номер Иры.

— Привет. Я освободился. Как вы?

— Нормально, — голос у Иры был веселый. — Мы с Антоном на даче. Он Ленку привез. Рисуют там что-то. Ты приедешь?

— Вечером. Сначала к маме заеду.

— Заезжай. Пирог испеку к твоему приезду.

— Какой?

— С вишней.

— Люблю тебя.

— И я тебя.

Он убрал телефон в карман, сел в машину, поехал через всю Москву в Марьину Рощу. Мать жила в старой дедовой квартире. Отказалась переезжать, сказала: «Здесь вся жизнь, чего мне по вашим хоромам мыкаться».

Она встретила его во дворе — сидела на лавочке с другими старушками, обсуждала свои бабьи дела. Увидела Виталия, заулыбалась, замахала рукой.

— Виталик приехал! А я тут с девками сижу, про жизнь толкую.

— Мам, ты бы дома сидела, холодно уже.

— Холодно не холодно, а воздухом дышать надо. Пойдем, я щи сварила.

Они поднялись в квартиру. Всё та же обстановка — старый шифоньер, этажерка с книгами, фотографии на стенах. Дедов закуток мать превратила в кладовку, но одну полку оставила нетронутой — с его чертежами, тетрадями, инструментами.

— Ты как, мам? — спросил Виталий, садясь за стол.

— А что мне сделается? Живу помаленьку. Соседка, тетя Клава, помогает. Антон заезжает, Ленку свою привозит. Хорошая девка, кстати. Душевная.

— А отец? — осторожно спросил Виталий.

Мать вздохнула, помешала щи.

— Жив твой отец. Вчера звонил. Говорит, бросил пить. В церковь ходит. Прощения просит. За все.

— А ты?

— А что я? Я старая уже. Простила давно. Пусть живет.

Они поели щей, попили чай. Виталий смотрел на мать и видел, как она постарела за эти три года. Но глаза у нее были живые, теплые. Не те, что в пустом мире — мертвые, равнодушные.

— Мам, — сказал он. — Ты счастлива?

Она улыбнулась.

— А как же? Ты есть, внук есть, здоровье пока позволяет. Чего еще надо?

Перед уходом Виталий зашел в дедов закуток. Постоял, оглядывая полки с чертежами. На одной, самой верхней, стояла коробка. Он снял ее, открыл. Внутри лежала фотография. Молодой дед в гимнастерке, рядом с ним девушка — та самая, Лиза. Звездочка. На обороте надпись: «1943 год. На память. Навсегда».

Виталий улыбнулся, положил фотографию обратно, поставил коробку на место.

— Прощай, дед, — сказал он шепотом. — Спасибо за всё.

И вышел из квартиры.

— —

Вечером он был на даче. Ира встретила его на крыльце, пахнувшая пирогами и осенью. В доме горел свет, оттуда доносились голоса Антона и Лены — они спорили о чем-то художественном.

— Дела идут? — спросил Виталий, обнимая жену.

— Мирно. Ленка его учит композиции, а он упирается. Говорит, что художники — это для девочек.

— А сам, небось, рисует тайком?

— А то, — Ира усмехнулась. — Я у него в комнате нашла альбом. Там такое... Ты бы видел. У него талант.

— Весь в деда, — сказал Виталий, и они оба понимающе переглянулись.

Они вошли в дом. Антон сидел за столом, нахохлившись, Лена тыкала карандашом в его рисунок.

— Вот здесь линия должна быть мягче, понял? А ты как топором рубишь.

— Да ну тебя, — Антон отмахивался, но по глазам было видно, что ему нравится.

Увидел отца, обрадовался.

— Батя! Скажи ей, что я не обязан быть художником. Я айтишник, у меня код, а не мазня.

— А рисовать при этом можешь? — спросил Виталий.

— Могу, но не обязан.

— Не обязан, — согласился Виталий. — Но если нравится — зачем отказываться?

Антон задумался, потом махнул рукой.

— Ладно, уговорили. Будем совмещать.

Лена довольно улыбнулась и спрятала карандаш.

Они сели ужинать. Ирин пирог, чай, разговоры ни о чем. Виталий смотрел на них — на Иру, на Антона, на Лену — и чувствовал, как внутри разливается покой. Не то счастье, которое показывают в кино, с фанфарами и слезами радости. А другое — тихое, ровное, как свет от настольной лампы.

— Виталь, — позвала Ира. — Ты чего задумался?

— Да так, — он улыбнулся. — Думаю, как хорошо, что вы у меня есть.

Антон фыркнул.

— Сентиментальный ты стал, пап. Раньше циником был, а теперь размяк.

— Размяк, — согласился Виталий. — А ты не размякай. Тебе жизнь жить еще.

— А я и не размякаю, — Антон насупился. — Я серьезный.

Лена засмеялась, ткнула его локтем.

— Серьезный он. А сам вчера на пленэре бабочек ловил.

— Я не ловил! Я изучал!

— Ага, изучал. С сачком.

Все засмеялись. Антон покраснел, но тоже улыбнулся.

За окном стемнело. В доме было тепло и уютно. Виталий смотрел на огонь в камине и думал о том, как много всего случилось за эти годы. О деде, который так и не узнал, что его Звездочка жива и помнит его. Об отце, который нашел в себе силы бросить пить и попросить прощения. О матери, которая всё простила. О Лене — той, первой, которая живет своей жизнью где-то в Германии и, наверное, иногда вспоминает его. Об этой Лене, которая сейчас сидит рядом с его сыном и смеется.

Он вспомнил хроноактиватор, ржавеющий где-то в московском дворе. Вспомнил надпись «Осторожно, дурак!». Дед был прав. Осторожно надо быть с прошлым. И с будущим. И

с настоящим. А еще — с любовью. Потому что она одна. И если ее потерять — не вернешь никаким «Сдвигом».

— Пап, — позвал Антон. — А Расскажи про девяностые? Про то, как ты молодым был?

Виталий посмотрел на него, на Иру, на Лену. Они ждали. Их глаза горели тем самым светом, который он так долго искал.

— Расскажу, — сказал он. — Только потом. Когда-нибудь. А сейчас давайте просто посидим.

И они сидели. Молчали, смотрели на огонь, пили чай. Обычный вечер обычной семьи. Который на самом деле был чудом. Самым настоящим чудом, которое нельзя починить, нельзя вернуть, нельзя исправить. Можно только прожить.

За окном падал первый снег. Крупными хлопьями, как в детстве. Виталий поймал себя на мысли, что счастлив. Не идеально, не навсегда, не так, как в книгах. А по-настоящему. С горечью, с потерями, с ошибками. Со всем тем, что делает жизнь жизнью.

Звездочка горела в камине, в глазах жены, в смехе сына, в рисунках Лены. Звездочка, которую нельзя погасить.

Потому что она и есть жизнь.

Винегрет
Рассказ не о еде

Глава 1

Антон. Винегрет как предчувствие

Моя жизнь к тридцати восьми годам напоминала плохо свёрстаный сайт: всё вроде на месте, но при нажатии на любую кнопку вылезает ошибка 404. Я числился «креативным менеджером» в конторе, торгующей оборудованием для вейп-шопов, хотя ни разу в жизни не парил и искренне считал, что «жижа» — это то, что остаётся на тарелке после пельменей. Зарплата приходила исправно, но такая скромная, что даже банковское приложение не присылало уведомлений — стеснялось. Я жил в хрущёвке на четвёртом этаже, где лифт не работал со времён путча, и по утрам спускался по лестнице, вдыхая запахи советской штукатурки и чьей-то жареной капусты. В общем, типичный представитель вымирающего подвида «московский неудачник с амбициями».

С Ларисой мы познакомились у Виталика. Виталик был из тех друзей, которые возникают в телефонной книге раз в год — строго накануне собственного дня рождения. Он арендовал лофт на «Курской», бывшее заводское помещение с кирпичными стенами и претензией на богемность, и собирал туда всех, кого сумел наскрести по чатам и бывшим коллегам. Я пришёл, потому что обещал помочь разливать водку — навык, который я довёл до совершенства за годы беспечных вечеринок. Она пришла, как потом призналась, в надежде встретить бывшего мужа. У бывшего мужа, Андрея, был редкий талант исчезать в самый неподходящий момент. На этот раз он уехал в Магадан. Нет, не в фигуральном смысле. Буквально. Купил билет в один конец и улетел, мотивируя это «вахтовым методом». С Ларисой они к тому моменту были в разводе уже год, но она продолжала его искать — не столько из любви, сколько из профессиональной привычки вычитывать незакрытые гештальты до конца.

Я заметил её в углу у окна. Она ела винегрет. Не ковыряла для приличия, как это делают девушки на коктейльных вечеринках, а именно ела — сосредоточенно, с методичностью корректора, вычитывающего вёрстку. Ложка двигалась слева направо, словно перелистывая невидимые страницы. Свёкла оставляла на губах лёгкий рубиновый след, и это было неожиданно эротично — как обложка женского романа в твёрдом переплёте. Я подошёл. Сработал рефлекс: если вижу женщину, которая поглощена едой, а не телефоном, — надо брать.

— Вы едите винегрет с таким лицом, словно это ваша судьба, — сказал я, протягивая ей бокал с шампанским.

Она подняла глаза. Серые, с лёгкой желтизной у зрачка — как старая газета, которую хранят ради одной заметки. Осмотрела меня с ног до головы и ответила с интонацией, которой обычно зачитывают приговор:

— А вы похожи на человека, который знает, где в любое время можно купить бутылочку нормального просекко. Не вот этого, — она кивнула на мой бокал, в котором пузырьки уже сдохли, не дожив до первого глотка.

Это было стопроцентное попадание. Я действительно знал, где взять просекко. Вернее, не просекко, а его потустороннего двойника, который изготавливал мой сосед снизу, Матвей. Матвей Семёныч, семьдесят два года, бывший технолог ликёро-водочного завода, закрывшегося в две тысячи девятом «за нерентабельностью». Он гнал дома дистиллят, настаивал его на каких-то травах, купленных через AliExpress, насыщал углекислотой при помощи старого сифона и разливал по бутылкам из-под итальянского Asti, которые ему приносила сердобольная внучка. На этикетке значилось: «Домашнее игристое. Состав: виноград, любовь, нервы». Я называл этот продукт «матвеевкой» и держал в багажнике «Логана» стратегический запас. Лариса оценила.

Так начался наш роман. Основанный на взаимной выгоде, полном непонимании жизненных целей и, как выяснилось позже, хронической нехватке настоящих импортных напитков в отдельно взятой стране.

Через месяц мы поженились. Отмечали в той же хрущёвке, у Матвея, потому что у него был самый большой стол (бывший лабораторный, из нержавеющей стали) и неиссякаемый запас «просекко». Пришли: тётя Рая с третьего этажа, Зинаида (жена Матвея, существо мифическое, появлявшееся раз в полгода из комнаты с воплем «кто сожрал мой зефир?»), и пара моих коллег, которые весь вечер делали вид, что им интересно. На столе стоял винегрет — уже другой, приготовленный Ларисой, с идеальными кубиками ровно семь на семь миллиметров. Я смотрел на этот салат и думал: «Вот моя новая жизнь. Свёкла, картошка, солёный огурец. И сверху майонезный флажок».

Глава 2

Лариса. Правка красной ручкой

Мне сорок один. Я корректор в издательстве «Новое слово», которое на самом деле не новое и не слово, а контора, штампующая «пособия по личностному росту» для менеджеров, возмнивших себя Наполеонами. Я вычитываю по две книги в неделю, и каждая из них — гимн человеческой безграмотности. Авторы путают «тсья» и «ться», не видят разницы между «надеть» и «одеть», а слово «конгениально» упорно пишут через «е» в третьем слоге. Я исправляю их ошибки красной ручкой, потому что привыкла. И потому что красный — это цвет власти. Единственной власти, которая у меня осталась.

Когда я встретила Антона, он показался мне черновиком. Нечитабельным, с массой стилистических погрешностей и общим ощущением, что автор (жизнь) был пьян, когда набрасывал этот текст. Но в черновиках есть своя прелесть. Иногда в них скрывается такое, чего не найти в глянцево-финальной версии. Антон нёс чушь про винегрет с таким серьёзным лицом, что мне захотелось смеяться. Я не смеялась — я корректор, у меня лицевые мышцы атрофированы от многолетнего общения с авторами. Но внутри что-то хихикнуло. А когда в женщине внутри что-то хихикает, жди беды.

Первые полгода мы играли в брак. Это была увлекательная игра с правилами, которые мы выдумывали на ходу. Он варил кофе по утрам — всегда пережжённый, но я пила и молчала. Я готовила ужины — всегда пересоленные, но он ел и хвалил. Мы смотрели сериалы, обсуждали политику, планировали поехать в Питер на выходные (и не поехали ни разу). Где-то на седьмой месяц я поняла, что устала. Не от него — от игры. Потому что любые правила, даже самые хитроумные, рано или поздно перестают работать, когда за окном вечный ноябрь, а в холодильнике вечный винегрет.

Я начала его править. Не смогла удержаться. Сначала замечания были устными: «Ты опять купил не тот хлеб. Здесь недостаточно кунжута». Потом пошли стикеры. Жёлтые квадратики с красными чернильными пометками, которые я клеила на холодильник, зеркало, его ноутбук. «Молоко просрочено. Ты рискуешь превратиться в творог досрочно». «Твоя одежда на стуле — это не интерьерная инсталляция. Убери». «Твой храп по ночам мешает спать не только мне, но и соседскому коту». Кот, кстати, действительно заходил — серый, облезлый, с наглой мордой пережившего дефолт дельца. Я звала его Эдик, в честь бывшего главреда. Эдик слушал Антонов храп, фыркал и уходил обратно на лестницу.

Антон бесился. Он говорил: «Ты относишься ко мне как к тексту!» Я отвечала: «Ты и есть текст. Просто пока не дописанный». Он не понимал. А я не объясняла — не хватало слов. Вернее, слов было как раз слишком много. Я каждый день вычитывала чужие рукописи и не могла вычитать собственную жизнь.

Измены начались у меня. Я не оправдываюсь. Это было не от страсти, а от профессионального выгорания. Виктор работал в нашем издательстве системным администратором. Он приходил, когда зависал сервер, и перезагружал его, сопровождая процесс тихими матюгами. У него были руки, которые пахли флюсом для пайки, и глаза человека, понимающего разницу между бэкапом и полным крахом. Мы начали спать не оттого, что хотели секса. Мы хотели перезагрузки. И Виктор её давал — переустанавливал драйверы моих нервных окончаний, чистил реестр обид, оптимизировал работу системы. После каждого свидания я возвращалась домой с ощущением, что моя операционка обновилась до новой версии. Правда, обновление длилось ровно до того момента, как Антон ронял на пол очередной стикер и говорил: «Лариса, это невыносимо».

Я не обижалась. Я понимала, что он тоже человек. И ему тоже нужна перезагрузка. Поэтому, когда он начал задерживаться «на работе», я просто кивала и шла к холодильнику, где меня ждал винегрет и одна мысль: «Ну и пусть. У меня хотя бы ужин правильный».

Глава 3

Татьяна (Танюшка). Текст без полей

Меня зовут Татьяна, но для всех я Танюшка. Так меня назвал отец в три года, и с тех пор никто не удосужился переименовать. Мне тридцать два, я работаю контент-менеджером в соцсетях одного банка и пишу посты о том, как накопить на пенсию, хотя сама не накопила даже на нормальный отпуск. В моей жизни была одна свадьба — чужая, где я нажралась мартини и станцевала с женихом так, что невеста обиделась на три года. Была одна ипотека — закрытая, потому что квартиру пришлось продать, когда грянул ковид. Был один кот, которого забрала бывшая соседка при переезде. И был один мужчина, который называл меня «отдушиной» и приезжал по вторникам и четвергам с бутылкой «матвеевки» и пачкой презервативов из «Пятёрочки».

Этим мужчиной был Антон.

Я встретила его не на дне рождения и не в очереди — в очереди было бы слишком банально даже для меня. Мы столкнулись в пункте выдачи WB. Он забирал чехол для телефона, я — книгу «Как простить себя и начать жить», которую заказала в приступе ночной рефлексии. Он стоял передо мной и спорил с девушкой-оператором о том, что цвет чехла «мокрый асфальт» на самом деле «грызущая тоска», а значит, он вправе требовать скидку. Девушка не понимала, а я стояла и хихикала в шарф. Он обернулся, посмотрел на меня и сказал: «Вы смеётесь надо мной? Имеете право. Но учтите, эта тоска не моя. Я её заказывал для кота».

Кота не было. Это я выяснила через полчаса, когда мы сидели в кофейне, и он, размешивая сахар в латте (ненавижу латте, но в тот день заказала), рассказывал о своей жизни. О жене-корректоре, которая правит его красной ручкой. О работе в вейп-конторе. О Матвее с его подпольным шампанским. О том, как он однажды хотел стать писателем, но написал три рассказа, и Лариса сказала: «Напоминает Чехова. Только Чехов был врачом и лечил людей. А ты кто?»

— А ты кто? — спросила я.

Он задумался. Отхлебнул латте, посмотрел в окно, где дождь размазывал по стеклу рекламу доставки суши, и ответил:

— Я человек, который покупает не тот хлеб. А ты?

— А я та, кто доедает за ним.

Вот так я стала любовницей человека, покупающего не тот хлеб. Мне не было стыдно. Стыд — это такая роскошь, которую могут позволить себе люди с хорошей ипотекой и семейными фотографиями на холодильнике. У меня на холодильнике висел магнит с Кипра (привезла сестра), календарь за 2019-й (потому что там красивые котик) и стикер с надписью «Купить молоко», написанный моей собственной рукой. Никаких тебе мужей, никаких корпораторов. Только я, мои вторники и четверги, и бутылка игристого, от которой наутро болела голова и душа.

Виктора я ненавидела заочно. Антон рассказывал о нём с той особенной мужской смесью презрения и зависти, которую обычно берегут для соперников. «Он чинит серверы, представляешь? Серверы! Это же даже не профессия, это диагноз». Я кивала, но про себя думала: «А ты что чинишь? Ты даже хлеб купить нормально не можешь».

У меня тоже был параллельный роман. Геннадий, сорок семь лет, бухгалтер из офиса напротив. Он носил жилетки поверх рубашек и говорил «бухгалтерский баланс» с таким придыханием, как говорят «женская грудь». Мы с ним изредка спали, чаще просто ходили в «Пятёрочку» и обсуждали цены на гречку. Геннадий разводил канареек. Дома у него стояла огромная клетка, где десяток жёлтых комочков орала так, что соседи вызывали полицию. Он их обожал. Говорил: «Танюшка, канарейка — это тебе не человек. Она поёт, потому что хочет петь, а не потому что надо отработать смену». Вот за эту философию я его и ценила.

А Антону продолжала позволять называть себя «отдушиной». Потому что иногда человеку нужна отдушина. А иногда нужен тот, для кого ты сам — отдушина. Это как круговая порука одиночеств.

Глава 4

Виктор. Системный подход

Меня зовут Виктор. Можно просто Витя. Мне сорок четыре, я системный администратор в издательстве «Новое слово», и это многое объясняет. Например, почему я смотрю на человеческие отношения как на базу данных с битыми ссылками. Почему любую проблему пытаюсь решить перезагрузкой. И почему мой роман с замужним корректором кажется мне не изменой, а кросс-платформенным обновлением.

С Ларисой мы впервые заговорили в серверной. У неё завис компьютер, и она пришла лично, а не по тикету, что уже было подозрительно. Она стояла в дверях — строгий серый костюм, волосы стянуты в узел, который я мысленно окрестил «архитектурой высокой доступности» — и смотрела на меня так, словно я неисправный модуль памяти.

— У меня не грузится вёрстка, — сказала она.

— У всех не грузится, — ответил я, не оборачиваясь. — Потому что автор залил файл размером с Библию, а сервер у нас 2015 года. Терпите.

— Я не могу терпеть, — отчеканила она. — Я корректор. Терпеть — это не моя профессия.

Вот тут я обернулся. Потому что фраза прозвучала как вызов системе. А систему я уважаю.

Лариса оказалась первой женщиной за последние десять лет, которая понимала разницу между интерфейсом и функционалом. В перерывах между перезагрузками серверов мы начали разговаривать. Вернее, она говорила — об авторах, которые пишут «вообщем» через дефис, о главреде, который утверждает макет, не глядя, о муже, который покупает не тот хлеб и считает это личным достижением. Я слушал и кивал, параллельно чистя кэш на маршрутизаторе. Потом она замолчала и спросила: «А у вас кто-нибудь есть?»

Вопрос застал врасплох. Я хотел ответить: «Мой домашний сервер на Ubuntu», но вовремя понял, что это не то, что она ожидает услышать. Поэтому сказал правду:

— Была жена. Ушла к разработчику на Java. Сказала, что я слишком предсказуем.

— А вы предсказуем?

— Как синий экран смерти.

Она засмеялась. И в этом смехе было что-то такое, отчего у меня в груди шёлкнул релейный контакт. Мы начали встречаться на нейтральной территории — в кафе с безлимитным Wi-Fi и отвратительным американо. Она называла это «свидания», я — «сессии обмена данными». Она приносила с собой распечатки глав, которые надо было вычитать, и между поцелуями правила запятые на полях. Я приносил ноутбук и между поцелуями обновлял прошивку на роутере. Это была идеальная пара: женщина, которая правит ошибки, и мужчина, который их предотвращает.

О муже она говорила с интонацией, которую я бы классифицировал как «устаревшее программное обеспечение». «Антон неплохой, — вздыхала Лариса, размешивая сахар в кружке. — Просто он живёт в режиме черновика. А я устала быть его редактором». Я не спорил. Зачем спорить с пользователем? Пользователь всегда прав, даже когда его представления о реальности устарели на три версии.

Однажды она спросила, не ревную ли я к мужу.

— Ревность — это баг, — ответил я. — Возникает при несовместимости ожиданий и реальности. Я к тебе всегда совместим.

— Ты говоришь как робот, — фыркнула она.

— Я говорю как система, — поправил я. — А система не ревнует. Система ждёт, пока пользователь сам выберет правильную конфигурацию.

Она, кажется, обиделась. Но через минуту уже снова правила запятые на моей салфетке. Потому что корректор не может долго обижаться — у него профессиональная деформация.

Мне нравилась эта связь. Она не требовала апгрейда. Никаких клятв, никаких обязательств, никаких совместных планов на Новый год. Мы просто обменивались пакетами нежности с периодичностью раз в три дня, и этого хватало, чтобы не зависать. А параллельно я продолжал чинить серверы, читать новости про импортозамещение и думать, что мир — это большая, плохо написанная программа, в которой все мы — строчки кода, ожидающие, когда их исправят.

Глава 5

Матвей Семёнович. Дистиллят идей

Мне семьдесят два. Можно без отчества — я уже в том возрасте, когда отчества только на кладбище пригодятся. Я бывший технолог ликёро-водочного завода «Кристалл-плюс», закрытого в две тысячи девятом по причине «нерентабельность плюс утрата доверия акционеров». С тех пор я на пенсии, но пенсия у меня такая, что если на неё жить, придётся перейти на питание святой водой и одуванчиками с газона. Поэтому я гоню.

Нет, не гоню — произвожу. У меня в кладовке стоит аппарат, который я собрал из медицинского автоклава, шлангов от капельницы и медного змеевика, купленного на «Авито» у какого-то деда из Мытищ. Называется «Установка для получения ароматных дистиллятов». Зарегистрирована как «бытовой прибор для стерилизации банок». Всё по закону. Почти.

Я делаю игристое. Беру спирт-сырец из пшеницы (закупаю у фермера под Серпуховом — у него своя мельница и своя тоска по СССР), настаиваю на травах (мята, чабрец, чуть-чуть полыни для характера), добавляю уголек из сифона 1972 года выпуска, разливаю по бутылкам из-под Martini. Продукт называю «Матвеевское игристое. Для особых случаев и повседневной безысходности». Антон говорит «матвеевка». Я не против. В конце концов, «вдовье шампанское» Клико тоже когда-то было подвальным пойлом.

Антон я знаю пять лет. Он въехал в квартиру этажом выше и в первый же вечер спустился с бутылкой коньяка, который на поверку оказался подкрашенным чаем раствором. Я коньяк вылил в раковину, а Антону налил своего — из первой, пробной партии. Он выпил, зажмурился и сказал: «Это либо гениально, либо преступление». Я ответил: «В России это всегда одно и то же». С тех пор он мой постоянный клиент, дегустатор и, не побоюсь этого слова, конфиденгент.

Ларису я невзлюбил сразу. Женщина с лицом корректора, который только что нашёл плеоназм в Библии. Она приходила в гости и смотрела на мою лабораторию так, словно это филиал ада, а я — мелкий бес, разливающий серу по фужерам. «Матвей Семёнович, — говорила она, цедя моё игристое через губу, — у вас тут антисанитария и нарушение ГОСТа». «Лариса Эдуардовна, — отвечал я с поклоном, — в России ГОСТ — это жанр фольклора. Рекомендации к сюжету, не более». Она фыркала, Антон хихикал, а я думал: «Не жилец ты в этой семье, парень. Вычитает она тебя до дыр».

Но я не вмешивался. Моя профессия — не лезть в чужие жизни, а делать их чуточку легче посредством 38 оборотов и правильного послевкусия. К тому же у меня есть своя тайна. Её зовут Зинаида. Моя жена. Мы живём вместе полвека и не разговариваем последние пятнадцать лет. Не потому что поссорились. Просто однажды утром я понял, что знаю всё, что она может сказать, а она — всё, что скажу я. С тех пор мы обмениваемся записками. «Купи хлеб». «Хлеб на столе». «Спасибо». «Не за что». Иногда мне кажется, что это самая идеальная форма брака — когда слова уже не нужны, а смысл остаётся. Но Антону и Ларисе до такого ещё далеко. Они слишком любят звук собственных голосов. Особенно она.

Глава 6

Аллочка. Подруга с гранатой

Я Алла. Можно просто Аллочка, хотя мне пятьдесят три, я вдова полковника МЧС и терпеть не могу сюсюканья. Ларису знаю пятнадцать лет, с тех пор как мы вместе начинали корректурами в издательстве «Знамя», которое потом переименовали в «Новое слово», а потом просто в «НС-медиа». Контора, конечно, гадюшник, но платят исправно и соцпакет есть, а в нашем возрасте соцпакет — это почти как любовник: вроде и не нужен, а откажешься — начинается изжога.

О Ларисе и Антоне я знаю всё. Потому что Лариса — из тех женщин, которые не могут держать в себе ничего, кроме винегрета. Она мне выкладывает подробности своей семейной жизни с методичностью писаря: где были, с кем спали, что сказали, какой хлеб купили. Я слушаю, киваю и про себя думаю: «Дуры мы обе с ней. Одна — потому что живёт с мужчиной, которого правит красной ручкой, вторая — потому что это слушает».

Виктора я видела один раз. Заходила в издательство за Ларисой, чтобы пойти на бизнес-ланч, и увидела в коридоре мужика в мятом свитере с нашивкой «IT Department». Он стоял у автомата с кофе и тихо матерился — автомат съел пятьдесят рублей и не выдал стаканчик.

— Вы Виктор? — спросила я без предисловий.

— Допустим, — буркнул он не оборачиваясь.

— Вы спите с моей подругой. Я Алла.

Он обернулся. Посмотрел на меня так, словно я была трояном, внезапно обнаруженным в системной папке, и ответил:

— Я не сплю, я обеспечиваю протокол обмена данными.

— Чего?!

— Лариса вам объяснит. Она корректор, у неё словарный запас шире моего.

Я тогда чуть кофе не поперхнулась от такой наглости. Но потом, поразмыслив, поняла: этот хмырь с процессором вместо сердца — лучшее, что случалось с Ларисой за последние годы. Потому что он её не правит. Он её принимает как исходный код. И это почти любовь.

Антон я тоже видела. Он приходил ко мне с бутылкой «матвеевки» — Матвея я знаю, хороший спирт, для печени почти безопасный — и жаловался на жизнь. «Аллочка, она всё время меня исправляет! Я чувствую себя школьным диктантом». «А ты не давай повода», — резонно замечала я. «Как не давать? Я же живу». И вот тут я не нашлась что ответить. Потому что жить — это действительно давать повод. Каждый день. Каждой покупкой не того хлеба.

— Антон, — сказала я ему тогда, — ты хочешь совет от женщины, которая двадцать лет прожила с полковником?

— Валяй.

— Полковник мой, светлая ему память, однажды сказал: «Алка, в любви главное — не замечание следов, а минирование направлений. Если знаешь, где враг пройдёт, поставь гранату и отойди». Так вот. Твоя Лариса — она не враг. Она твой сапёр. А ты вместо того, чтобы дать ей карту минных полей, просто ходишь туда-сюда, пока она орёт «ложись!».

Он тогда долго молчал. Потом допил «матвеевку» и спросил: «А где взять карту?»

А я не ответила. Потому что если бы я знала, где взять карту семейного счастья, я бы её запатентовала и жила на Мальдивах. А не в хрущёвке на Войковской с видом на мусорные баки.

Глава 7

Геннадий. Канарейки и баланс

Геннадий Альбертович, сорок семь, бухгалтер. Именно так я представляюсь в налоговой и в паспортном столе. Для друзей — Гена, для Татьяны — Геночка, что меня несколько коробит, но я терплю. В конце концов, женщине, которая согласна спать с тобой по четвергам, можно простить многое, включая уменьшительно-ласкательные суффиксы.

Я работаю в аудиторской фирме «Баланс-Эксперт». Составляю отчёты, свожу дебет с кредитом, ищу ошибки в накладных. Моя жизнь, как бухгалтерская ведомость: левая сторона — доходы, правая — расходы, и сальдо всегда стремится к нулю. Доходы: стабильная зарплата, канарейки, редкий секс с контент-менеджером из соседнего офиса. Расходы: ипотека, алименты, корм для канареек, нервы. Алименты плачу бывшей жене Светлане, которая после развода ушла в йогу и теперь зовёт себя Амрита. Дети — два мальчика-близнеца — зовут меня «дядя Гена» по наущению матери. Я не обижаюсь. В конце концов, «дядя» — это статус. Меньше ответственности, больше свободы. А свобода в моём возрасте — это возможность самому выбирать, какой хлеб покупать (с тмином).

С Татьяной мы познакомились в лифте. Она ехала на свой четвёртый этаж, я на свой третий. Лифт застрял на полчаса. За это время мы успели обсудить погоду, курс рубля, качество мобильной связи в шахте лифта и одиночество. Она сказала, что одинока, хотя спит с женатым. Я сказал, что одинок, хотя женат не был уже три года как. Когда лифт дёрнулся и поехал, она спросила: «Может, кофе?» Я ответил: «Только если без сахара. У меня преддиабет».

Так начался наш вялотекущий роман. Вялотекущий — потому что у неё вторники и четверги были заняты Антоном, а у меня понедельник, среды и пятницы — отчётностью. Оставались выходные, но в выходные я уезжал на птичий рынок за кормом и новыми особями. Канарейки — моя страсть. У меня их двенадцать. Все жёлтые, кроме одного — оранжевого, которого я зову Хромосома в честь генетического сбоя. Они поют так, что соседи сверху стучат по батарее шваброй. Но я не прекращаю. Потому что пение канарейки — это единственная музыка, которая не врёт.

Татьяна канареек не понимала. «Гена, они орут». «Они поют, Танюшка. Разница в слшателе». Она хмыкала, но не спорила. Вообще, наши отношения держались на том, что мы не спорили ни о чём важном. Она не спрашивала, почему я до сих пор не выбил у бывшей жены нормальное общение с детьми. Я не спрашивал, почему она тратит лучшие годы на мужика, который даже хлеб не может выбрать. Мы просто были вместе — ровно настолько, чтобы не завывать в одиночестве.

Однажды она сказала: «Гена, у меня идея. Давай устроим им всем весёлую жизнь». «Кому — им?» — не понял я. «Антону, Ларисе, этому чокнутому айтишнику. Всем, кто думает, что жизнь — это плохой анекдот. Пусть увидят, что анекдот может стать ещё хуже». Я подумал и ответил: «Это рискованно». «Бухгалтер, — фыркнула она, — ты же считаешь риски на работе. Посчитай здесь». Я посчитал. Риск получить по морде от Антона, риск испортить репутацию, риск потерять Татьяну... Но сальдо, как ни странно, сошло в положительную сторону. Потому что, когда жизнь превращается в однообразный винегрет, туда нужно добавить перца.

Мы начали разрабатывать план.

Глава 8

Татьяна и Геннадий. План «Винегрет»

Мы собрались у меня. Геннадий пришёл с пакетом из «ВкусВилла» и бутылкой «матвеевки», которую я заранее попросила Антона оставить. Положил на стол блокнот, ручку и калькулятор. Я смотрела на этот натюрморт и думала: «Боже, за что мне это? Мужчина, который соблазняет меня бухгалтерской отчётностью».

— Итак, — начал Геннадий, раскрывая блокнот, — у нас есть четыре фигуранта. Антон, Лариса, Виктор и мы с тобой.

— Мы с тобой — не фигуранты, — возразила я. — Мы — режиссёры.

— Режиссёры тоже иногда сидят, — вздохнул он и что-то чиркнул на полях. — Ладно. Цель: вывести всех из зоны комфорта. Заставить их признать, что они живут не свою жизнь. И посмотреть, что будет.

Я хмыкнула. Моя жизнь тоже была не своя, но я хотя бы это понимала. Антон, Лариса, Виктор — они играли в какой-то бесконечный спектакль, где каждый знал роль, но забыл слова. Антон играл писателя, который не пишет. Лариса — жену, которая не любит. Виктор — любовника, который не ревнует. А на самом деле они были просто уставшими людьми, которым не хватало смелости сказать: «Всё, этот театр закрывается на ремонт».

— Что ты предлагаешь? — спросила я.

— Свести их всех в одной точке, — Геннадий постучал ручкой по блокноту. — В одной комнате. Антон, Лариса, Виктор. И ты. И я.

— Зачем мы?

— Для массовой. И для свидетельских показаний, если что.

Я представила эту сцену: Лариса с её красной ручкой, Антон с его вечным оправданием, Виктор, перезагружающий разговор как зависший компьютер, и мы с Геннадием — два статиста, которые вдруг выходят на авансцену и начинают говорить текст, которого нет в сценарии. Это было страшно и смешно одновременно.

— Где? — спросила я.

— У Матвея, — ответил Геннадий, не задумываясь. — Матвей Семёныч — нейтральная территория. К тому же у него есть спирт, а на трезвую голову такие разговоры не ведут.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.